

Светлов В.



ПРИ ДВОРЕ ТИШАЙШЕГО

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Валериан Светлов
При дворе Тишайшего

«Алгоритм»

1911

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Светлов В. Я.

При дворе Тишайшего / В. Я. Светлов — «Алгоритм»,
1911 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03637-8

Имя Валериана Яковлевича Светлова (наст. фам. Ивченко; 1860—1934) — автора исторических романов и рассказов, увлеченного исследователя Кавказа и древних культур, путешественника, искусствоведа, было хорошо известно дореволюционной России. Балетный критик, муж балерины В. А. Трефиловой, коллекционер и журналист, он сотрудничал в журналах «Нива», «Театр и искусство», «Звезда», «Ежегоднике императорских театров», газетах «Биржевые ведомости», «Слово» и др. Автор работ по истории русского балета. В 1909 г. принимал участие в организации Русских сезонов Дягилева. В 1917 г. эмигрировал во Францию. Умер в Париже. В этом томе представлен роман «При дворе Тишайшего». Написанный в лучших традициях историко-приключенческого жанра, он раскрывает малоизвестные подробности времени правления Алексея Михайловича Тишайшего.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03637-8

© Светлов В. Я., 1911
© Алгоритм, 1911

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	8
III	12
IV	16
V	20
VI	22
VII	24
VIII	28
IX	32
X	35
XI	39
XII	42
XIII	49
XIV	53
XV	57
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Валериан Яковлевич Светлов

При дворе Тишайшего

Часть первая

I Встреча

Зима 1657 года выпала удивительно теплая, и праздник 21 декабря удался как нельзя лучше. За четыре дня до Рождества Христова москвичи праздновали память чудотворца Петра, первого митрополита, поселившегося в Москве и давшего ей величие.

Уже 19-го числа патриарх явился к царю во дворец, чтобы звать его и старшего царевича; на торжество приглашалась также и вся знать. 21 декабря выдался ясный и солнечный день, легкий морозец, непохожий на обычные рождественские стужи, пощипывал щеки москвичей, торопливо сновавших с предпраздничными хлопотами по улицам. Народ валил в Кремль, в Успенский собор, где был царь со всеми своими боярами и где обедню служил сам патриарх Никон.

Все были весело настроены и одеты по-праздничному. Ратники забыли, казалось, на время свою вражду к городскому классу и перекидывались теперь шутками и прибаутками, кто не спеша, а кто почти бегом стремясь к высокой белокаменной стене Кремля.

– Эй, берегись, служилый! – гаркнул с широких розвальней ражий детина, гикая и пома- хивая плеткой.

Служилый едва успел отскочить в сторону, хватив кулаком лошадей в морду. Великолеп- ной масти пара гнедых взвилась на дыбы и шарахнулась в толпу, но опытная рука возницы удержала их; из толпы двое-трое свалились и с бранью барахтались в рыхлом снегу.

В это время из розвальней вышел боярин огромного роста, широкоплечий, с черными, сумрачно сдвинутыми бровями; одет он был в соболью шубу, а на его голове была высокая шапка. Маленькие серенькие глазки злобным взглядом окинули толпу и, остановившись на смельчаке-служилом, загорелись, как у волка при виде добычи.

– Это ты осмелился тронуть моих коней? – подступая медленной, тяжелой походкой к высокому, стройному стрельцу, спросил он.

Тот, немного струхнув, молча смотрел своими большими голубыми глазами грозному боярину в очи. Легкий пушок покрывал его верхнюю губу и выдавал его юный возраст.

– Молокосос! – разъяренно крикнул вдруг боярин. – Разве не знаешь, чьи такие кони? – И увесистая пощечина опустилась на бледную щеку стрельца.

Стрелец пошатнулся, схватился одной рукой за щеку, а другой – за висевший на поясе нож. Но боярин поймал это движение и, перехватив его руку, так стиснул ее, что молодой стрелец с мучительным стоном опустился на землю.

– Негоже, боярин, служилого трогать! – вдруг раздалось в толпе.

Боярин злобно оглянулся, и так зловещ и страшен был взгляд его маленьких глаз, что толпа как замороженная стихла. Ближайшие к боярину людишки торопливо постарались скрыться из-под этого грозного взгляда и подальше уйти от греха.

– Кто говорил? – скрипучим голосом спросил боярин.

Все молчали. Стрелец встал и растирал себе руку. Капли холодного пота катились по его высокому белому лбу, на котором слиплись густые русые волосы; его шапка все еще валялась на земле.

– Кто говорил? – повторил свой вопрос боярин. – Кто пожалел служилого, а себя забыл? Разве он не знает, кто я?

– Как не знать? – послышался из толпы голос. – Кому не ведом князь Григорий Сенкулеевич Черкасский!

Князь, как раненый вепрь, кинулся вперед при этом возгласе, но толпа мгновенно раздалась, и он очутился лицом к лицу с человеком, вид которого не имел ничего общего ни со служилым, ни с купцом, ни с посадским; этот человек с любопытством смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену. По лицу и по одежде это был иноземец.

Невысокого роста, стройный, тонкий и гибкий, как молодая девица, он был черноволос и смугл лицом. Крупные, белые как жемчуг зубы виднелись из-под длинных черных усов; его большие черные, словно маслины, глаза, подернутые выражением неги и ласки, сверкали теперь неукротимой отвагой и веселым задором. Длинный суконный казакин светло-голубого цвета, плотно стянутый у талии серебряным кушаком и украшенный на груди золотыми газырями с драгоценными камнями, резко бросался в глаза своим оригинальным покроем и богатством.

Москвичи уже знали, что эти длиннополые, тонкие и гибкие люди – грузины, понаехавшие в Москву еще с 1553 года с челобитной к царю Алексею Михайловичу. Все они были знатного рода – по крайней мере, сами себя считали таковыми, а по одежде нельзя было отличить одного от другого. Все носили одинакового вида кафтаны, лишь разных цветов; только по богатству отличались их газыри: у кого – серебряные, у кого – золотые с камнями или без них.

Юноша, на которого налетел князь Черкасский, по-видимому, был богат и знатного рода; это сейчас же смекнул строптивый и гордый князь и немного поубавил тона; однако все еще со сдвинутыми бровями он повторил свой вопрос:

– Это ты мне указ давал, чего мне не надлежало делать?

Он был уверен, что грузин не поймет его, а для толпы он все-таки сохранит свое грозное обличье.

Грузин промолчал, а князь, поощренный этим молчанием, усмехнувшись, прибавил:

– Только ведь ты, собачий сын, на православном языке не говоришь.

Грузин побледнел и, схватившись за рукоятку великолепного кинжала, висевшего на его поясе, громко, резко и гортанно ответил на русском языке:

– Кто ты, я не знаю, что смеешь так говорить, а кто из нас собачий сын – ты или я, – скажет тебе мой кинжал.

Князь Черкасский усмехнулся, скинул с плеча на руки своему холопу шубу и стал засучивать рукава кафтана; потом он встал во весь могучий рост, выпрямил грудь, вытянул вперед обросшую волосами руку и, потрясая огромным кулачищем, вызывающе смотрел на грузина, как бы приглашая его к единоборству.

Грузин стоял молча, с недоумением глядя на эти странные приготовления, а на приглашительный жест князя вступить с ним в кулачный бой не шелохнулся.

– Ты чего ж, шенок, ждешь? – весело крикнул князь, предвкушая легкую победу над тонким, сухопарым грузином и потрясая в воздухе своим кулачищем. – Или испугался?

Грузин встрепенулся и проговорил:

– Да где же у тебя кинжал?

– На кинжалах хочешь? – ухмыльнулся князь. – Нет, басурманишка, мы в честном стародавнем русском бою силушкой с тобой померяемся. Выходи, что ль, нечего дурака валять!

Грузин с недоумением пожал плечами и оглянул толпу. Народа осталось немного. Колокола перестали звонить; в церквях уже шла обедня, и на улицах почти прекратилось движение.

Вокруг князя и грузина остались только страстные поклонники кулачного боя и вообще любители всяких уличных скандалов, да еще несколько человек, лично знавших свирепого князя и сильно недолголюбивавших его.

Среди последних был и молодой стрелец, у которого ныла щека и вспухла рука. Он очутился как раз возле грузина, когда тот с недоумением оглянул небольшую кучку любопытных.

– Иди, молодец! – шепнул стрелец грузину. – Дахвати его, шельмеца, под самые микитки; ты вон какой махонький, угоди-ка ему под самое брюхо!

Грузин опять пожал плечами и крикнул нетерпеливо топтавшемуся на месте князю:

– Выходи с оружием, а то не буду биться!

Князь побледнел от злости. Он был страстным любителем кулачных боев и прямо-таки выискивал случаи, где бы мог показать свою удасть и телесную силу. И вдруг такой представившийся ему случай ускользал из его рук. Было на что разозлиться. Однако князь во что бы то ни стало решил заставить своего противника вступить с ним в единоборство без оружия, которого он не терпел уже потому, что совершенно не умел владеть им.

– Ах ты, курицын сын! – заревел он, подступая к грузину. – Тебе оружие надо? На-кося! – и он замахнулся кулаком на грузина.

Но тот с удивительной ловкостью увернулся от могучего удара, который, наверно, был бы для него смертельным, а затем в свою очередь, замахнувшись кинжалом, вонзил его в быкообразную шею князя.

Это случилось так внезапно и быстро, что все ахнули.

Князь, зарывав, как дикий зверь, медленно стал опадать всей своей огромной, могучей тушей на землю. Золотая рукоятка кинжала сверкала на зимнем солнце, а красный рубин, вделанный в нее, переливался кровавыми огнями. Князь сам имел еще достаточно сил, чтобы схватив кинжал, отшвырнуть его от себя. Но из его глубокой раны уже хлынула на белый снег широким потоком темная кровь.

– Лови... лови... изменника! – прохрипел князь и тут же потерял сознание.

Холопы окружили раненого и старались втащить его в розвальни; несколько человек кинулись за грузином, но ни его, ни стрельца уже не было видно. Когда князь повалился, как срубленный дуб, а толпой овладело оцепенение, стрелец быстро схватил чужеземца за руку и потащил его в соседний проулок.

– Бежим, молодец! Я укрою тебя! – шептал он, пугливо озираясь. – Ничего, так князю и надо! Зверь-человек. Ну а если поймают тебя, то запытают.

– Да за что же? – покорно идя за стрельцом, спросил грузин. – Не я его вызывал – он меня. Он меня не по правилам первым ударил, я только ответил на удар ударом...

– Вестимо. Вдарь он тебя по башке, так на месте и пришиб бы. Так то он боярин, а ты иноземец. Иноземцу за убийство боярина либо служилого и даже холопа плохо приходится. Засудят, запытают...

– Вздор какой ты говоришь! – нахмурившись, возразил грузин. – Как это меня за правое дело запытают? Разве я какой-нибудь безродный?.. За меня есть кому вступиться. Я и сам не хуже вашего боярина – царской крови. Здесь, в Москве, моя царевна Елена Леонтьевна с внуком Теймуразовым, Николаем, а я его воспитатель и родственник Елены Леонтьевны. Как это меня можно запытать? – И грузин гордо посмотрел на своего спутника.

Но того, видно, мало удивил высокий ранг иноземца. Он только покрутил головой и, опасливо оглянувшись, ответил:

– Ступай-ка в эти ворота. Схоронимся пока. Там видно будет. – Он пропустил своего спутника в низенькие почерневшие ворота и, ступив за ним во двор, тщательно запер их на засов, еще раз оглядев пустую улицу. – Ступай же за мной! – сказал он грузину, видя его нерешительность.

Тот нехотя последовал за ним.

II В корчме

В маленькой, но чисто убранной горенке сидели оба молодых человека перед накрытым белой скатертью столом, уставленным яствами. На столе находился большой чайник, из которого стрелец то и дело наливал себе в стакан сбитень. Перед грузином стояла чарка с вином, но он лишь чуть-чуть прикоснулся к ней губами.

– И зовут меня Провом, по отчеству Степанычем, а прозвище мое – Дубнов! – продолжал разговор стрелец, шумно отхлебывая сбитень с блюда. – Числюсь я на царевой службе: третий уж год с Петровок пошел. Рода буду я все же дворянского. У отца и посейчас Дубновки в Новгороде имеются... а братишка мой старшой с боярином Ординым-Нащокиным в чужие земли венецские и другие заморские города езживал... Да что ж ты, молодец, не пьешь? – обратился он к молча слушавшему его собеседнику. – А еще, слышь, молвят, что вы, грузины, дюже горазды выпить! – с легкой насмешкой проговорил он и налил себе вина из братины.

– Да, мы любим пить, но только свое кавказское вино. А это, – он отхлебнул и поморщился, – не очень хорошее! И здесь пить неприятно – жарко, душно. Почему ты привел меня сюда, а не пошли мы в корчму?

– Мы и есть в корчме, только с заднего хода, – смеясь, ответил Дубнов.

– Почему с заднего? – продолжал допытываться грузин.

– А потому самому, что в корчме в праздничный день ничего и нет – ведь корчма заперта. Нешто не знаешь царева указа? «В воскресный день и Господние праздники не работать никому; в субботу прекращать работу, как заблаговестят к вечерне». Ну, понял? Стало быть, корчма и закрыта, чтобы, значит, прислужники и хозяева не работали.

– А что же в праздник делать? – усмехнувшись, спросил грузин.

– «В воскресенье, Господние праздники и великих святых приходить в церковь и стоять смирно», – ответил Пров Степанович словами из царского указа. – И еще указано: «Скоморохов и ворожей в дома к себе не призывать, в первый день луны не смотреть ее, в гром на реках и озерах не купаться, с серебра не умыться, олова и воска не лить; зернью, картами, шахматами и лодыгами не играть; на браках песен бесовских не петь и никаких срамных слов не говорить; кулачных боев не делать». Смекаешь ли, молодец? – подмигнул он грузину. – А кто ежели не послушается, бить того батогами. «Домры, сурны, гудки, гусли и хари искать и жечь». Во как! И указ этот должен знать каждый. А ты небось не знал?

– Не знал! – покачав головой, ответил грузин. – Да и где ж мне знать? Говорить по-русски я выучился легко, а читать по писаному не умею. Грамота ваша совсем отличная от нашей.

– Если бы знал ты боярина, небось не затрогал бы? – сочувственно спросил Дубнов.

– Нет, все равно я сказал бы, что хотел сказать, и на бой вышел бы.

– А батоги?

– Меня бить батогами? – сверкнув взглядом и гордо закидывая голову, с усмешкой спросил грузин.

– А и тебя... ты что за птица такая?

– Кто же бы это смел меня бить?

– А по царскому указу, на Съезде двора.

– Меня? Князя родового?

– А что за важность? Не рушь, значит, царского указа. А рушил – отвдай царских батов. Ничего, что ты князь. Вот батюшка-царь онамедняясь стольника своего, князя Григория Оболенского, в тюрьму послал за то, что у него в воскресный день люди и крестьяне работали черную работу да он же, князь Григорий, скверные слова говорил.

– Так то тюрьма, а не батоги! – возразил грузин.

– А кто ж его знает? Может, боярин-то и бато́гов отведал? – задумчиво проговорил Пров Степанович. – Да разве он выйдет на Красную площадь поведать народу, что, мол, его бато́гами били? Ни в жизнь! В себе скроет срамоту-то свою.

Грузин пожал плечами.

– Значит, и мой враг, вот этот самый ваш боярин, пойдет в тюрьму и бато́гов попробует? – злобно спросил он у Дубнова.

Тот протяжно свистнул, налил себе еще сбитня на блюдечко и стал тихонько подувать. Потом, торопливо сделав несколько глотков, он поставил блюдце на стол, рукавом кафтана вытер губы и, лукаво посмеиваясь своими голубыми глазами, весело спросил:

– Нешто, думаешь, князь жив остался? Я так думаю, что наш обидчик к вечеру Богу душу отдаст.

– Нет! – покачал головой грузин. – Я хочу с ним еще раз драться, а теперь я ему только показал, какова у меня рука и каков верный глаз. Я метил в шею повыше кости, туда и попал. Боярин ваш жив будет.

Он победоносно посмотрел на молодого стрельца, ожидая от него изъясления восторгов. Но румяное, веселое лицо Дубнова вдруг потемнело, в глазах отразились смущение и страх. Он взъерошил свои курчавые русые волосы, густо вившиеся вокруг его высокого белого лба, и с искренним сожалением проговорил:

– Эхма, молодец! Маха ты дал, нечего сказать!

– Как это маха? – обиделся грузин. – Вовсе не мимо; куда метил, туда и попал. У меня глаз верный...

– То-то и оно! Метил бы в сердце, дело-то куда лучше было бы.

– Разве я убийца? – гордо спросил грузин. – Ты говоришь, он князь? Большой боярин? А разве он поступил со мной по-княжески? Бросился на меня, не предупредив о нападении! Так только поганые персы поступают да еще лезгины, а честные люди на бой идут открыто, при всем народе, во всем вооружении, и спор свой решают равным оружием, а не тем, кто больше ростом да большей силой наделен от Бога. Что ж? И я ведь поступил не по правилам боя, да уж разобидел князь меня руганью да насмешкой, ну и не вытерпел, немножко проучил его... Но убивать?.. Нет, я не убийца, друг мой.

– Ну, так теперь он тебя убьет! – досадливо заметил стрелец, принимаясь снова за сбитень и безнадежно махнув рукой.

– Ну, это еще как Бог рассудит. Мы ведь с вами одному Богу молимся, Он нас и рассудит.

– Да, как же, держи карман шире, станет князь Черкасский Божьего суда дожидаться. Пырнет он тебя где-либо в закоулке и в Москву-реку сволочит. Вот тебе и вся недолга!

– Так поступают только разбойники-ингуши...

– Ну, уж я там не знаю, как кто поступает, а только тебя, молодец, мне очень жаль, да и себя чуточку. Не успокоится боярин Григорий Сенкулеевич, пока врагов своих не изведет злою смертью. А как тебя величать, как по отчеству звать, добрый молодец?

– Князь Леон Вахтангов Джавахов! – ответил грузин с нескрываемой гордостью.

– Прозвище мудреное! Ну, князь Леон, совет тебе мой добрый: уезжай-ка ты восвояси, пока еще ноги носят. Ведь иначе князь Черкасский сживет тебя со света белого, разметет твои косточки по ветру буйному. Улепетывай-ка поскорей в свое царство, если такое есть где на земле!

Грузин равнодушно выслушал его и при последних словах пожал только плечами.

Пров Степанович налил себе и ему вина и продолжал:

– Выпьем на дорожку, и с Богом! Если ты вправду говоришь, что глаз твой верный и князь только ранен, то через неделю он очухается и примется тебя отыскивать, а ты уж будешь далеко, и ему будет тебя не достать. А я как-никак пока схоронюсь, хоть у батьки на хуторе.

Да меня он за тобой-то, я так думаю, и позабыл: весь ведь он на тебя распалился. Ну, доброго пути! – И Дубнов залпом выпил плохое рейнское вино, которое подавалось в корчме.

– Я никуда не уеду! – отодвигая от себя чарку с вином, хладнокровно проговорил Джавахов.

– То есть как же это? – поперхнувшись, спросил Дубнов. – Или жизнь тебе не мила, что сам на рожон лезешь?

– Я не могу ехать без царевны; я приставлен за царевичем Николаем смотреть и без указа царевны отлучаться никуда не могу.

– Добудь у царевны своей указ. Скажи, что тебе опасно на Москве оставаться, она и даст.

– Может, и даст, да я все равно не уеду!

– Или зазноба? – лукаво подмигнув, спросил Пров.

– Никого у меня нет здесь, – нахмурившись, ответил грузин.

– А, да и упрямый же вы народ! – ударив по столу кулаком, крикнул стрелец. – Ну, говори ж толком, что тебя здесь привязало? – Дубнов видимо хмелел, но старался бодриться перед своим новым знакомым. А тот сидел насупившись, и его смуглое лицо точно почернело; глаза не искрились больше и потеряли свой блеск, губы были плотно сжаты, а тонкая рука нервно перебирала серебряные газыри на черкеске из дорогого сукна. – Ну, что ж, скажешь ты, кто приворожил тебя здесь, что тебе головы своей не жаль? – приставал к нему Дубнов.

– Я второпях оставил на месте боя свой кинжал, – сумрачно ответил грузин. – Надо ж мне его вернуть!

– Эка чего захотел! Ты, я вижу, парень ловкий. Так тебе его и отдали, держи карман шире! А разве дорог твой кинжал?

– Не в цене сила, а наследственный он.

– Купи новый.

– Нет! У грузина должен быть один кинжал на всю жизнь.

– Да где ж его взять, твой кинжал? Поди, у князя он под семью замками теперь. Достань-ка!

– И достану, – убежденно и мрачно произнес грузин.

– Ну, голова! – развел руками Дубнов. – Да ты ж погибнешь.

– Может, и погибну, а может, и нет. Как Бог это рассудит! – И грузин встал.

– Куда ты? – спросил его Пров Степанович.

– Пора. Смотри, обедня уже отошла. Моя царевна домой вернется и меня хватится.

– Так твое решение неизменно? Не уйдешь из Москвы? За кинжалом пойдешь?

– За ним.

– Ну, стало быть, увидимся! – крикнув и лихо накренивая шапку на голову, проговорил молодой стрелец. – Негоже мне, стрельцу, хорониться от беды, если ты, чужеземец, на нее лезешь. Давай руку, побратаемся! Ты ведь из-за меня в беду попал, и я с тобой ее и разведу. Пойдем кинжал отыскивать вместе.

– Только не сегодня! – возразил грузин. – Меня ожидает царевна!

– Ну, ладно, ступай к своей царевне, а я пойду... к зазнобушке! – и Дубнов хитро подмигнул глазом.

– Ты... выпил, – нерешительно проговорил князь. – Разве можно в таком виде на улицу?

– В указе насчет выпивки ничего не сказано! Значит, пить можно и в виде пьяном по городу шествовать тоже можно.

Грузин пожал плечами и, надевая на свои блестящие черные волосы барашковую шапку, сказал:

– Странные обычаи у вас, и народ вы странный!

Оба новых приятеля вышли на улицу, по которой уже расходилась из церкви толпа.

– Ну, прощай, побратим! – снимая шапку и кланяясь в пояс, сказал Дубнов. – Если что понадобится, приходи сюда в корчму с того же хода и вели меня разыскать. Приду вмиг. А где же мне тебя разыскивать?

– Во дворце, где грузины поселились.

Они разошлись в разные стороны.

III

Грузинские хоромы

Князь Леон Вахтангович пошел медленно по улице, понурая голову, мягко ступая своими чувяками по замерзшим мостовым, не замечая ни уличного движения, ни яркого декабрьского солнца, весело глядевшего с ясного неба.

Он был уже хорошо знаком с Москвою, а дорога из Кремля на Неглинную, где стояли хоромы, отведенные для грузинской царевны и ее свиты из трехсот душ, была ему отлично известна. Он шел никого не спрашивая и не оглядываясь, твердо сворачивая то в одну, то в другую узенькую, грязную улочку.

Скоро он подошел к широким воротам высоких деревянных хором на каменном фундаменте. Здание было довольно обширно и вместительно, однако не настолько, чтобы царевна и ее свита с многочисленной челядью могли свободно помещаться в них. Поэтому вольные дети гор, привыкшие к простору и шири, были принуждены ютиться по несколько человек в горнице.

Только царевна, царевич и самые знатные и приближенные к ней свитские люди были помещены каждый в отдельной светелке. Князю Джавахову, как воспитателю царевича и близкому ко двору любимцу, была отведена маленькая горенка возле самой спальни царевича и царевны. Тут же, неподалеку, были и парадные приемные комнаты.

Князь Леон прошел прямо к себе, скинул черкеску и остался в одном шелковом красном бешмете. Папаху и пустые ножны он бросил на стол, а сам подсел к окну.

Последнее выходило в узенький переулок, редко посещаемый прохожими; напротив высились огромные богатые хоромы, наглухо заколоченные и никем не обитаемые, что придавало проулку унылый, угрюмый и даже таинственный вид.

Эти заколоченные хоромы уже давно привлекли внимание любопытного и скучающего на чужбине грузина. Он часто сидел у «косящата оконца» и допытывал себя, что случилось с обитателями этого заколоченного дома, что произошло за этими закрытыми ставнями?

Он был уже немного ознакомлен с обычаями страны, у которой его царевна и отчизна искали теперь защиты. Он знал, как жестоки, как беспощадны нравы этого чужого народа, который они, грузины, считают православным и который поступает иногда не лучше поганых персов и нечистых турок. Князю не раз приходилось слышать, как за одно неосторожное слово, за один неловкий шаг человек летел с головокружительной быстротой с высоты в бездну; как гибли целые семьи за ошибку одного лишь и какой дорогой ценой расплачивались люди за одну минуту власти и земных почестей.

Джавахов за себя и своих, конечно, не боялся. Слишком высоко ценил он права гостеприимства, и думалось ему, как и всем его сородичам, что сам царь Алексей Михайлович отвечает за каждый волос, который упал бы с их головы; поэтому-то происшедшая утром ссора меньше всего могла тревожить его. Пугало его одно, а именно, что он не найдет своего кинжала, или если и найдет, то князь Черкасский не захочет отдать ему эту драгоценность. При этой мысли черные брови грузина угрозливо сдвинулись и во взоре его зажегся вызов.

В это время дверь его горницы тихонько скрипнула и в нее просунулась стриженная головка мальчика. Черные большие любопытные глазки оглядели комнату, маленький, но уже с заметной горбинкой нос сморщился, и детский голос произнес:

– Что же ты ко мне не пришел, князь Леон? Был ты в церкви? Я тебя не видал. Можно к тебе?

Не дожидаясь ответа, хорошенький, лет тринадцати, мальчик шагнул через порог горницы. Он был в длинном темном халатике, белом бешмете, коричневых чувяках и черной барашковой шапке.

– Сними, царевич, папаху! – довольно строго приказал ему Леон по-грузински.

Тот упрямо помотал головой, но, встретив суровый взгляд своего наставника, нехотя снял шапку.

– Когда я буду царем, – надув пухлые губки, проговорил мальчик, – я прикажу всегда носить папаху.

– Разве тебе ничем иным нельзя будет заняться, что ты, как женщина, будешь заботиться о головных уборах?

Мальчик вдруг вспыхнул, и его правая рука схватилась за крошечный кинжал, болтавшийся у него на пояске.

– Ты не смеешь называть меня женщиной, князь Леон! – с задором крикнул он наставнику.

Этот задор, видимо, понравился его воспитателю. Джавахов потрепал мальчика по плечу и, улыбнувшись, ответил:

– Я знаю, что наследник славного царя Теймураза никогда не будет женщиной по характеру.

– Когда я вырасту, я ни у кого не буду просить помощи и всех врагов сам покорю.

Леон Вахтангович с печальной улыбкой выслушал юного царевича. Он хорошо знал историю своей страны. Он знал, что теснимая с одной стороны персами, с другой – турками, она волей или неволей должна была просить покровительства России, тем более что Россия с каждым годом становилась все могущественнее.

Грузия не могла обойтись без России, или же в конце концов Россия сама взяла бы ее, естественно расширяя свои владения.

Он знал и то, что Грузия год от года падала, слабея от непрерывных набегов персидских и турецких орд. Немногочисленный, но геройски храбрый народ с отчаянной решимостью еще отстаивал свою свободу и религию, но каждому становилось ясно, что этой непосильной борьбе скоро придет конец, грузины неизбежно подпадут под чью-нибудь власть и потеряют свою самостоятельность.

– Я только не пойму, – продолжал размышлять мальчик, – почему дедушка послал нас к русским? Они все такие гордые, у них так скучно и так холодно! Совершенно не так, как у нас, в Грузии! И этот белый, белый песок, который они называют «снегом», он не такой, как тот, горячий, что лежит по берегам нашей Куры; он холодный и мокрый. Я не люблю его. Я здесь ничего не люблю. И зачем дедушка прислал нас сюда? Здесь и реки не видать – она вечно скована льдом, нет цветов, нет птичек, ничего нет!

– Подожди, скоро и здесь все зацветет, снег исчезнет, и станет хорошо...

– Здесь люди нехорошие, недобрые, – тихо прошептал мальчик. – Маму вон как долго держат, мучают; она плачет... каждый день плачет.

– Наше дело, царевич, нелегкое, скоро оно не сделается.

– Недобрые! – упрямо повторил мальчик. – Вот водовоз говорил мне, что здесь пытаются жгут раскаленным железом, на кострах сжигают и еще много-много ужасных мучений делают. А ты говорил, что у русских по-другому, чем у персов. По-моему, все равно. И лучше бы нам к туркам за помощью идти – и ближе от дома, и теплее. Скажи, разве мы в плену у русских, что нас так долго держат?

– Турки не христиане, а нам подобает быть в союзе только с христианской державой, царевич. И мы – гости России, а вовсе не пленники.

Мальчик задумчиво посмотрел на наставника и печально покачал головой.

– Христиане! – проговорил он. – Не похоже! – И, видимо утомившись вести долее такой серьезный разговор, переменял тему: – А знаешь, княжна Каркашвили тебя в церкви все искала. Где же ты был? Твой отец говорит, что тебе не следует ходить далеко по городу. – Вдруг, обратив внимание на пустые ножны, царевич вскрикнул: – А где же твой кинжал?

Леон смутился. Ему не хотелось рассказывать о происшедшем с ним случае, потому что это всполошило бы все дремавшее в Москве грузинское царство и встревожило бы его отца, дорожившего кинжалом, который переходил к старшему в их роде и был получен Леоном в день его совершеннолетия, незадолго до приезда их на чужбину.

– Я отдал его починить, – неуверенно ответил он.

Царевич пытливо взглянул на него, но ничего не сказал, а только пошевелил губами, что всегда означало, что он не совсем удовлетворен ответом. Потом он вдруг вспомнил, зачем пришел сюда, и сказал:

– Я зашел сказать тебе... знаешь, ведь у матушки сегодня гости.

– Да? – рассеянно спросил Леон.

– Тебя разве не интересует – кто? – загадочно проговорил мальчик.

– Ну, кто же?

– Царевны-сестры! Матушка сказывала – важные, и зовут их: одну – Татьяна Михайловна, а другую – Анна Михайловна. Матушка ждет от них многого.

– Напрасно! Все так, одни разговоры; здесь женщины – не то что наши, ни до чего не касаются, ничего не знают и никакого значения не имеют.

– Царь своих сестер любит, – внушительно произнес царевич.

Леон безнадежно махнул рукой.

Кого не любил Тишайший царь Алексей Михайлович? И под чьим влиянием только он не находился? Слабохарактерный, добродушный, он так же часто менялся в настроениях и чувствах, как апрельское солнце. С какой стороны подует ветер, в ту сторону он и повернется. До трусости избегавший каких-либо неудовольствий и кислых лиц, он готов был на всевозможные уступки и сделки, лишь бы удержать вокруг себя мир и тишину.

Будучи по природе своей слишком мягким, Алексей Михайлович не мог не уступить большого влияния окружающим его людям; он был вспыльчив, но невыдержлив, слишком доверялся лицам недостойным, но действующим дерзко и смело, и хотя отлично понимал людей, но не имел характера поступать с ними по заслугам.

Зато в минуту вспышки Алексей Михайлович не знал пощады таким людям, как бы мстя им за долгие годы обнаруживаемой им слабости. Так, например, он отлично видел, кто такой был его тесть Милославский, но, не имея сил обидеть жену и видеть всю ее многочисленную родню с грустными лицами, выносил этого коварного, жадного и низкого боярина, которому он уступал во всем, лишь бы не было вокруг него печальных лиц, лишь бы уклониться ему как-нибудь от ссор и слез.

Поэтому рассчитывать, надеяться на него не было решительно никакой возможности. Стоило кому-нибудь наговорить, нашептать царю что-либо, и уже решенное дело отменялось. Если же самому царю почему-либо хотелось исполнить просимое или просившее лицо было мило ему, то он тянул решение, хитрил, прибегал к уверткам, как вот, например, теперь в грузинском деле; здесь ему, по природной доброте души, очень хотелось помочь, но у него не хватало силы воли заставить своих жадных и строптивых бояр выслать грузинскому царю на подмогу требуемую им казну и ратных людей.

Все это уже давно поняли: и сама грузинская царевна, и Леон, да и все ее приближенные, но они все ждали случая или человека, который постоял бы за их правое дело.

– Пойдем к царевне, если у нее гости! – сказал Леон царевичу.

Тот молча последовал за наставником.

Между ними установились дружеские отношения, мало походившие на отношения наставника и воспитанника. Юный грузинский царевич был смышленным, не по летам развитым мальчиком. Ему рано пришлось видеть и пережить много такого, о чем другим детям его лет и слышать даже не приходилось. Да и само воспитание вольных горных сынов совершенно разнилось от воспитания, например, русских мальчиков той эпохи: грузинские умели

уже стрелять из лука, недурно владеть кинжалом и скакать на неукротимом коне по крутым горам через буйные потоки следом за суровым отцом или смельчаком-братом.

Теперь царевич легко и неслышно шагнул за князем Леоном, упорно размышляя обо всем, о чем они говорили, и уносясь мыслями в далекую теплую и благоухающую родину, где цвели цветы, где синело небо, где горячо светило солнце и где люди были гораздо приветливее и добрее, чем в засыпанной холодным снегом угрюмой Московии.

IV

В покое царевны

Царевна Елена Леонтьевна была еще молодая красивая женщина двадцати восьми лет. Невысокого роста, черноволосая, чернобровая, с белым тонким лицом и страстными, жгучими глазами, она была полна очарования и прелести. Стоило ей поднять глаза, взмахнув густыми длинными ресницами, как у всякого говорившего с нею пробуждалось к ней восторженное и благоговейное чувство, как к красавице женщине и царевне. Царевна верно знала могучую силу и неотразимую власть своего взора, а потому редко кто удостоивался счастья лицезреть всю глубину ее темных очей.

Она была серьезна и молчалива, больше любила слушать, чем говорить, много читала, была очень образованна по тогдашнему времени, религиозна и любила подолгу простаивать на молитве.

В длинном пышном платье, отороченном позументом, в темном парчовом казакине с кисейными рукавами от локтя, в башмачках из алого атласа без задков, но с каблучками, она двигалась не спеша и была так легка и воздушна, что, казалось, ее маленькие ноги еле прикасались к полу. На голове у нее постоянно покоилась маленькая круглая шапочка из бархата с длинной кисейной вуалью за спиной и закрывала ей весь лоб. Вдоль лица, по обеим сторонам щек, черными змеями вились две толстые, перевитые жемчугом косы. Маленькие белые руки, с пальцами, унизанными кольцами, перебирали всегда дорогие кипарисовые четки.

Когда Леон Вахтангович и царевич Николай вошли в ее комнату, царевна внимательно читала книгу своего любимого поэта Шота Руставели. При виде сына она отложила книгу и низким грудным голосом спросила, где он был.

– Я был у князя Леона, мы разговаривали, – серьезно ответил мальчик, нежно целуя белые руки матери. – Ведь сегодня праздник, идти одному гулять нельзя, ты запретила... Народ пьян! – с презрительной гримасой прибавил он.

– Да, правда! – грустно вздохнув, промолвила царевна. – Это не у нас, где в праздник молодежь состязается в силе и ловкости, а старики пьют наше чудное родное вино, вспоминая битвы славных дней Грузии! Пьют и не пьянеют.

– Слабый народ, – возразил князь Леон, поздоровавшись с царевной, приложив руку к сердцу и низко, но с достоинством ей поклонившись. – Одна слава только идет, что русские сильны. Выпьет две-три чарки иноземного вина – и голову потеряет. А от нашего и с одной под стол валится. Помнишь, царевна, боярина Буйносова, что к тебе от русского царя с указом приходил?

Царевна чуть усмехнулась, вспомнив, как сановитый, тучный боярин, выпив у нее рог поднесенного ему вина, вскоре засопел и тут же, на ее глазах, заснул и повалился на лавку.

– Да, такого душистого, чудного вина не много на свете! – проговорил Леон. – И куда русским, с их тяжелой брагой и сытовым медом, от которых только тошнит и голова болит, до нашего родного вина! Слабы они пить! – продолжал он. – Вот хоть бы сегодня... Выпил один молодец заморского вина, разбавленного, скверного, выпил, похвалил, да с третьей чарки и мысли его запутались... а крупный человек, видно, силачом здесь считается.

– Где же ты с ним пил? – сдвинув немного брови, спросила царевна. – Недавно обедня отошла только! Неужели во время обедни в духане побывал?

Князь Леон смутился и потупился. Он обмолвился, забыв, что царевна запретила во время обедни ходить в гости или по «духанам». Она была религиозна и того же требовала от сына и от всех своих приближенных.

– Ты разве не знаешь моего приказа, чтобы быть со всеми в церкви? – сурово проговорила царевна, и ее четки быстро замелькали меж пальцев. – Какой же ты после этого наставник? И какой это пример моему сыну?

Леон стоял потупившись и чувствовал, что если уж он проболтался, как женщина, то теперь обязан рассказать все, что привело его в корчму с молодым стрельцом.

– Царевна, выслушай! – пробормотал он. – Дело важнее, чем питье вина во время обедни.

– Как? Что? Какие слова произносишь ты, безбожник? – потеряв свою обычную сдержанность, выкрикнула царевна. – Есть какие-то дела поважнее обедни? Да ты здесь совсем головы лишился, если смеешь мне такие слова говорить...

Леон стоял растерянный, не зная, как выпутаться из неловкого положения. Царевна, всегда такая ровная, выдержанная, в минуты гнева была положительно неузнаваема, и только один царевич имел возможность успокоительно на нее подействовать. И теперь, с детским инстинктом почуяв, что князь Леон не так виноват, как думает разгневанная мать, он тихо подошел к ней, ласково обнял рукою за шею и твердо шепнул ей:

– Мама, выслушай его, а потом брани! Князь Леон был очень встревожен, когда я зашел к нему в комнату. Я редко видал его таким. Выслушай же его.

Царевна понемногу успокоилась, ее четки задвигались медленнее, а белые пальцы ровнее стали перебирать кипарисовые зерна.

– Ну, говори, что с тобой случилось! – наконец сказала она, не глядя на Леона и опустив, по обыкновению, глаза; только легкое вздрагивание ресниц доказывало, что ее волнение еще не улеглось и готово ежеминутно вспыхнуть.

– Я не хотел говорить кому бы то ни было о том, что приключилось со мной в это утро, но, раз уж так вышло, тебе, царевна, скажу.

– А мне уйти? – скромно произнес царевич, но в его черных глазах горели любопытство и мольба, чтобы ему позволили послушать.

– Нет, царевич, останься. Ты вступился за меня, ты знаешь уже, что я не был у обедни, и ты видел... мои пустые ножны! – глухо проговорил Леон и отвернулся от пытливого взгляда мальчика.

– А, так это из-за них! – радостно догадался царевич. – Я так и знал, что ты их не отдал, не отдал в починку.

– Да, я хотел скрыть...

– От Бога ничего нельзя скрыть! – назидательно заметила царевна.

– Но теперь, царевна, если я скажу, то с условием, что ты и царевич никому не расскажете услышанного вами.

– Вот тебе моя рука. Я буду нем, как Эльбрус! – торжественно произнес мальчик.

– Благодарю тебя. Я знаю, ты славный мальчик! – пожимая ему руку, ответил Леон и вопросительно посмотрел на царевну.

– Говори, – сказала она, и Леон начал свой рассказ.

Когда он дошел до того места, как боярин на него замахнулся, царевич, все время жадно слушавший его, сидя неподвижно, вдруг вскочил и, бледный и весь трясаясь от гнева, вскрикнул:

– Он смел замахнуться на тебя? И ты не положил его на месте?

Мать с восторгом следила, каким гордым негодованием горело личико ее любимца, и, улыбаясь, заметила:

– Тише, тише, дитя... дай слушать. Разве ты забыл, что сам видел пустые ножны у князя Леона?

Царевич радостно взвизгнул и захлопал в ладоши. Потом, усевшись на место и устремив глаза на Леона, попросил его продолжать.

Быстро, волнуясь и захлебываясь от переживаемого чувства, Джавахов кончил рассказ и спросил, был ли он виноват. Мог ли он, свободный сын гор, видеть, как унижают человека, попирая его права, и не вступить за него?

Царевна молча протянула князю руку; он с жаром поцеловал ее, поняв, что царевна простила его и даже раскаивалась теперь в своем гневе.

Царевич с восторгом обнял его и вскрикнул:

– О, я рад, что ты всадил нож в этого русского боярина. Ты такой же князь, как и он, даже выше его родом. Ведь Грузия древнее России!

– Тише! – с легким испугом остановила его мать. – Разве можно отзываться так о стране, у которой мы просим защиты? Что сказал бы дедушка Теймураз, если бы услышал твои слова? Он так дорожит расположением русского царя.

– Если бы дедушка знал, – упрямо продолжал царевич, – что русский царь до сих пор еще даже не принял тебя!

Царевна вспыхнула и еще ниже опустила голову. Удар сына попал в цель.

Она страшно страдала от неделикатности Алексея Михайловича, который в продолжение последних двух лет, проведенных ею в Москве, до сих пор не удосужился принять ее. Конечно, ни она, ни сметливый царевич не знали, как мало виноват был в этом русский царь и как много была виновата сама гордая царевна, не сумевшая расположить в свою пользу бояр, которые старались помешать ее свиданию с царем.

С некоторого времени к ней часто стал заходить князь Пронский, которого привел в ее хоромы боярин Буйносов, сильно полюбивший «заморское» вино грузинских гостей. Пронский был статным брюнетом с бледным лицом, на котором мрачно горели серо-синие глаза, иногда казавшиеся совсем черными; его тонкие красивые губы были всегда плотно сжаты, а в углах рта лежала жестокая складка, портившая несомненно мужественное и красивое лицо князя. Он носил окладистую бороду и гладко подстриженные волосы, которые были очень черны, но без блеска. Его высокий лоб прорезывали две глубокие морщины; на висках серебрились седые волосы, что делало его старше сорока четырех лет.

Пронский был женат и имел дочь, но ни жены, ни дочери никто никогда не видал: они жили где-то в подмосковной, в большом имении князя, очень уединенно и замкнуто. Много боярынь и боярышень заглядывались на статного красавца с огненным взглядом, но он не обращал ни на кого ни малейшего внимания. Много былей и небылиц ходило по Москве о Пронском, но он отвечал на них презрением и по-прежнему гордо и надменно держал свою львиную голову на широких плечах. Его имя было окружено таинственностью и нередко произносилось со страхом и трепетом.

Царевну Елену Леонтьевну Пронский видел раза два, в церкви Василия Блаженного, потом с Буйносовым попросился ее поведать и делу ее «дать помощь». Но, придя, он просидел битый час и, ни слова не говоря, так и ушел. Потом он еще много раз приходил, но никогда один, и все молчал, только пристально и жутко смотря на прекрасное лицо царевны.

Елена Леонтьевна, чувствуя на себе взгляд своего странного, мрачного гостя, старалась еще ниже опустить глаза, еще плотнее прижать к груди свои четки, с которыми не расставалась. Она принимала его, потому что ей сказали, будто он имеет влияние при дворе; будто боярыня Хитрово очень любила его и его покойницу мать, а кого боярыня Хитрово брала под свое покровительство, тому было все возможно. И царевна Елена терпела молчаливого посетителя, хотя его посещения были ей подчас невыносимо тяжелы.

– Сказали, князь Пронский уладит наше дело! – говорил царевич. – А он ходит да молчит, Буйносов же пьет и засыпает. Советчики царя, нечего сказать!

– Пронский обещал сегодня привезти сестер царя. Разве тебе этого мало? – спросила мальчика царевна.

– И боярыня Хитрово будет? – спросил Леон.

Царевна пожала плечами – она этого не знала.

В это время к воротам подкатило несколько саней-розвальней, и из них стали вылезать закутанные женские фигуры.

Царевич Николай первый заметил гостей и сказал об этом матери. Царевна и Леон заволновались. Вбежал грузинский слуга и доложил, что пожаловали русские царевны, Татьяна Михайловна и Анна Михайловна, с боярыней Хитрово и князем Пронским, и спросил, где прикажут принять их. Царевна распорядилась, чтобы гостей ввели в приемную, и, нервным движением поправив свои косы, медленным и величественным шагом пошла вслед за слугою. Леон и царевич шли за нею слегка взволнованные, так как ждали от этого свидания с царскими сестрами многого для той миссии, с которой они сюда прибыли четыре года тому назад.

V

Боярыня Хитрово

Сестры царя Алексея Михайловича были хорошенькие девушки, хохотуны и проказницы. Старшая, Анна Михайловна, очень походила на отца Михаила Федоровича, была такая же круглолицая, с мягкими, карими глазами, приземистая и румяная. Татьяна Михайловна вышла в мать – в родню Стрешневых, высокая, статная, с темно-русой косой и серыми, властными глазами: она любила, как и сестры, посмеяться и пошутить, но в общем была гораздо серьезнее их.

Сам Алексей Михайлович страстно любил своих сестер, которые были старше его и, когда он был маленьким, сильно баловали будущего царя. За это ли или вообще по любвеобильному сердцу Тишайший любил сестер не меньше, чем своих детей, и даже часто советовался с ними о государственных делах.

Царевны были избалованы вниманием и потворством сперва отца, потом брата и упорно отказывались идти замуж, хотя годы быстро проходили и они уже приближались к возрасту перезрелых дев. Но, видно, это мало заботило их, и жить под любящим крылом брата было приятнее, чем под тяжелой рукой любого мужа.

Они наслушались всевозможных рассказов от пришлых иноземцев, которые еще при Михаиле Федоровиче стали охотно посещать Москву и знакомиться с русским бытом. Чужеземцы не стеснялись говорить о жизни Запада, о том, что там женщины уже давно покинули свою затворническую жизнь и стали понемногу равняться с мужчинами. Конечно, русским женщинам еще и думать было нечего о той свободе, которою пользовались их западные сестры, но все-таки и они стали пытаться разорвать путы, много веков сковывавшие их волю и самостоятельность. Царевны первые, пользуясь слабостью любящего брата, решились сделать начальный шаг к давно и всеми страстно желанной, жданной свободе. Они первые вышли из терема с открытым лицом и встали возле царя в церкви, не прячась от людских глаз, гордо и открыто смотря всем в лицо. Они первые пришли на пир к брату и сели рядом с ним, сдерживая своим присутствием грубую и разнузданную веселость бояр.

Конечно, это новшество крайне не понравилось боярам, и они изо всех сил выбивались, чтобы восстановить царя против его сестер. Добродушный Алексей Михайлович, сознавая в душе, что требование бояр справедливо, что сестры поступают противно обычаям старины и этим дают зазорный пример народу, пытался было образумить своенравных девушек; но те подняли вой и плач, сопровождавшийся душераздирающими сценами, просьбами, угрозами и попреками. Они просили, чтобы царь лучше заточил их в монастырь, чем им нести теперь такой всенародный срам и спрятаться снова в терем, откуда они только что выглянули на Божий свет.

Алексей Михайлович колебался, страдал и не знал, как поступить, а характера у него не хватало, чтобы настоять на своем. Бояре нашептывали, наговаривали, грозили даже смутой, которая непременно-де подымется, потому что «срамное поведение» царевен смущает христианский народ и даже в состоянии поколебать религию. Царь уже начинал видимо сдаваться, и упрямым царевнам грозил монашеский клобук или кика да терем с крепким затвором, но им на подмогу неожиданно явилась боярыня Хитрово.

Елена Дмитриевна Хитрово была из рода князей Хованских, богатая и знатная, когда ее, молоденькой девушкой, выдали замуж за старого, постылого ей боярина Хитрово. Он запер ее в терем, ревновал, заподозревал во всевозможных преступлениях: и колдунья-то она, и на жизнь-то его покушалась, и чего-чего не выдумывал старый, влюбленный в свою красавицу жену боярин!

А боярыня была действительно красавица на диво: высокого роста, полногрудая, с белой шеей и руками, румяная да свежая, с ясными голубыми очами, с приветливой улыбкой, всегда порхавшей на ее алых губах, открывавших ряд зубов, мелких, как бисер, и белых, как перламутр. Она очень любила голубой цвет и всегда носила голубую кичу, из-под которой выбивались выющиеся густые пряди ее белокурых волос; над ее тонким прямым носом расходились черной дугой красивые, соболиные брови. Походка у Елены Дмитриевны была плавная, величавая; голову с тяжелой косой, по-бабьему скрученной на темени и спрятанной под кикой, она держала немного горделиво, откинув назад, голос имела мягкий, нежный, чуть-чуть нараспев, нрава была властного, самолюбивого и гордого, с людьми умела ладить, и никто не мог разгадать, какие мысли роятся под белым невысоким лбом боярыни; знали только все, что боярыня Елена Дмитриевна ума не бабьего, то, что называется – ума палата.

Недолго умная боярыня была замужем за старым Хитрово. Выпил он как-то после горяченькой баньки кваску холодненького и через денька три и Богу душу отдал.

Пошепталась дворня, покручинилась родня; неслабого сложенья был старый боярин, не раз холодного кваску испивал, да жив оставался, а тут, на-кося, после баньки и помер... Но пойти с жалобой на боярыню никто не посмел. Знали уже, что она ко двору во дворец пришла, что ее прочат в нянюшки маленькой царевне, как только от той мамушка отойдет; знали и то, что царь Алексей Михайлович подолгу беседует с нею о делах мирских и государевых и даже ее совету часто следует. Знали и то, что есть у нее заступник, боярин Матвеев, царский любимец, против которого и самой царице Марии Ильиничне не устоять, не пойти.

Как овдовела Елена Дмитриевна, так тотчас же и перешла жить во дворец, поступив нянюшкой к маленькой царевне, и овладела любовью не только маленьких царевен и сестер царя, но даже и сердцем самой царицы.

Действительно, она приобрела доверенность царицы и так укрепились в ее мнении, что ничьи наговоры, ничьи предупреждения не могли поколебать симпатии царицы к боярыне Хитрово. Ленивая по природе, привыкшая к теремной, замкнутой и праздной жизни, царица была очень рада свалить всю заботу о детях на чужие плечи, а боярыня Хитрово была энергичная, живая и подвижная натура, умевшая потакать царицыному сонному лежанию с грызеньем семечек, хохоту и пересудам старших царевен и шалостям маленьких девочек. Шутя даже царя боярыня сумела подчинить своей воле, и раз данное ей слово царь исполнял свято, как бы после этого ни тянули его в разные стороны.

Правда, мамушки, нянюшки и весь придворный женский штат при имени боярыни Хитрово поджимали губы и многозначительно переглядывались, но вслух-то никто своих предположений не выкладывал, зная, что за это последует жестокое наказание. Все еще помнили, как было поступлено с боярыней Кикиной, которая, осерчав на Хитрово за дружбу с царевнами и царицей, непочтительно отозвалась о ней, приплетая заодно и царя к своему злему навету. За это она была сечена кнутом и сослана в Сибирь со всеми своими родичами.

VI

Близкие люди

Значение Хитрово поднялось еще более, когда она, приняв на себя хлопоты царевен о разрешении им свободного жития, вступила в борьбу с боярами!

Боярыня, сама изведавшая теремную жизнь, суровую опеку отца, тяжелую руку мужа, читавшая переводы с иностранных писателей, знакомая с Гвидоном Мессинским и его знаменитой «Троянской историей», увлекавшаяся многими польскими рыцарскими романами, называвшимися «потешными книгами», и знавшая на память басни Эзопа, – конечно, всюю душою симпатизировала желанию царевен расправить крылышки, тем более что, помогая им, она и себе расчищала путь к свободе.

Алексей Михайлович не имел сил отказать статной голубоокой красавице, когда она явилась к нему и со своей приветливой, ласковой улыбкой и нежным голосом стала просить разрешить царевнам свободный выход из терема и дать острastку боярам. Царь, робея и не глядя на молодую вдову, дал свое обещание. Но красавице этого было мало: она заставила его немедленно созвать всех придворных, он исполнил это требование и, словно находясь под влиянием ее ясных очей, обошелся с боярами круто и сурово; делать было нечего, и они покорно склонили свои головы.

Царевны вздохнули свободно и тотчас же широко воспользовались разрешением; с этих пор они стали боготворить боярыню, а бояре стали побаиваться ее и подобострастно гнуть перед нею свои гибкие спины.

Царица равнодушно приняла весть об эмансипации царевен и победе боярыни Хитрово, а царь стал все чаще и чаще искать случая встретиться с красавицей боярыней.

Елена Дмитриевна еще при муже познакомилась с князем Пронским; из-за него-то муж сильно колотил ее, и она много слез пролила за это знакомство. Овдовев, она стала принимать князя сначала тайком, а потом, когда завоевала при дворе положение и свободу, то уже и не стесняясь звала его в торжественных случаях в свои покои и даже в покои царевен.

Странные отношения установились между Пронским и Еленой Дмитриевной. Вот уже несколько лет, как эти отношения можно было считать чрезвычайно близкими; казалось, эти два красавца безумно любят друг друга – по крайней мере, князь никогда не пропускал часа свидания, а Елена Дмитриевна жарко обнимала его белыми руками и крепко целовала его в уста. Но их речи всегда были полны не нежных, любовных слов и ласковых признаний, а язвительных намеков и желчных укоров. Князь Борис Алексеевич Пронский был не речист, и при свиданиях больше говорила Елена Дмитриевна, а он слушал, любуясь ее красотой.

Оба властные, оба сильные, они очень подходили друг к другу и как бы подкрепляли один другого, но на самом деле каждый из них таил в себе свои мысли и планы. Боярыня говорила своему другу только то, что находила нужным, зато о нем знала всю подноготную, что подчас сильно сердило гордого и строптивого князя. Почти от всех скрыл он свою бурную приключениями и темными делами жизнь, только от боярыни Хитрово не укрылось ни одно из его деяний. Откуда узнала она, что он с Родионом Стрешневым разбойничал на Дмитровке да с Юрием Ромодановским учинил убийство старосты? Кто сказал ей, что за подгородное имение он позволил боярину Кикину растлить бедную сиротку, поповскую дочь, а сам избег беды, заставив одного Кикина поплатиться? Кто сказал ей наконец, что он искалечил жену и держит ее взаперти в подмосковной, где он делает и медные деньги и оттого так непомерно богат? Откуда узнала она, что в подвале его московского дома томятся его враги? Все это знала Хитрово и не раз давала понять князю, что он весь в ее сильных руках, но что ей пока нет никакой нужды пользоваться этим.

Как-то раз князь предложил ей выйти за него замуж. Боярыня, засмеявшись, сказала:

– Каков жених выискался! От живой-то жены да сватать вздумал? В уме ли ты, боярин, или вовсе его лишился?

Пронский мрачно взглянул исподлюбья на красавицу.

– Я еще не хочу помирать, – продолжала Хитрово, – а ты, я знаю, затем и хочешь жениться, чтобы меня какой ни на есть казни предать.

Она шутливо рассмеялась, но князь понял, что она разгадала его, и больше не возобновлял речи об этом.

Хитрово продолжала быть с ним по-прежнему ласковой, горячо целовала и миловала его, но князь чувствовал, что эти маленькие белые руки цепко обвилились вокруг его шеи и малейшее его неосторожное движение или желание высвободиться из-под этих нежных, но крепких пут будет стоить ему жизни.

Но не таков был князь Борис Алексеевич, чтобы так легко отдать свою свободу и не суметь умненько выскользнуть из бабьих рук. Елена Дмитриевна была умна и гораздо на выдумки, а князь Пронский, пожалуй, и того умнее и хитрее. И, когда ручки боярыни уж очень ласково сжали его шею, он придумал, как ему от этой ласки женской неприметно уйти.

И привела его эта думушка к тому, что уговорил он боярыню Хитрово и царевен ради любопытства посетить царевну грузинскую.

Долго боярыня упорствовала, а князь разжигал любопытство царевен взглянуть на чужеземную властительницу и на ее житье-бытье. Наконец смекнула ли боярыня сама что-либо, или ревность в ней заговорила, как услышала она, что Елена Леонтьевна молода и даже красива, или же просто она царевнам угодить хотела, но только дала она свое согласие на это посещение и в праздник, за четыре дня до Рождества Христова, приехала с царевнами и самим Пронским к грузинской царевне на поклон.

VII

Первая встреча

Грузинская царица встретила почетных гостей в самой большой комнате своих хором, носившей название приемной; эта горница была светлая, просторная, убранная по-восточному, с мягкими тахтами по стенам, увешанным коврами, с полами, покрытыми циновками и уставленными достарханами. В правом углу стоял поставец с образами в дорогих серебряных и золотых ризах, усыпанных изумрудами и бирюзой.

Елена Леонтьевна почтительно и с достоинством поклонилась вошедшим; царицы сердечно расцеловались с нею, а боярыня Хитрово поклонилась в пояс.

Анна и Татьяна Михайловны сразу заметили стоявшего с царевичем в стороне стройного юношу.

– Глянь-ко, боярыня, какой красавчик! – шепнула хохотушка Анна. – Глаза-то, глаза так и пынут жаром, словно съесть нас хотят. Это он, боярыня, в тебя уставился... А тонкий-то какой да ловкий, что молодая березка.

Елена Дмитриевна и сама видела, как загорелся взор у этого смуглого чужеземца, встретившись с ее лазоревыми глазами, как дрогнули мускулы его сухощавого лица, когда она приветливо улыбнулась ему.

А царица Анна уже отошла от боярыни и говорила с царицей Еленой:

– Ах, царица, какой славный у тебя мальчик!.. Вот бы его во дворец к нам.

Царица стыдливо улыбнулась, польщенная похвалой своему любимцу; в эту минуту она совершенно забыла, что на ней лежит великая миссия ратовать за свою родину; чувство матери поглотило ее всю, и она, мило коверкая русские слова, стала рассказывать о нем всякие мелочи, дорогие ее материнскому сердцу.

Князь Пронский, сидя немного поодаль от царевен, украдкой следил за Еленой Леонтьевной, чтобы кто-либо не поймал его страстного взора. Порой он переводил свой взгляд на боярыню Хитрово, и если бы она видела этот взгляд и злобную усмешку, мелькавшую на его губах, то, как бы ни была храбра и бесстрашна, наверное, содрогнулась бы. Но она не видела этого взора, а видела, как вспыхнул князь, когда царица Елена, разговаривая о сыне, скользнула по нему жгучим взглядом и даже чуть улыбнулась ему, когда он поцеловал ручку царевича. Боярыня сдвинула свои соболиные брови; потемнели, как ночь, ее лазоревые очи, и до крови закусила она свои алые губы, но ничего не сказала, а под села к царице Елене и, пылко смотря в ее бледное, тонкое личико, заговорила:

– Правда ли, царица, говорят, будто у вас крестят младенцев одним погружением, отцам духовным не каются и причастие только при смерти дают, да и то без покаяния? Будто у вас ко Честному Кресту вера оскудела да и икон будто вы не почитаете?

Царица заволновалась, быстро перебирая четки; при последних словах гости слабо вспыхнули румянцем ее бледные, впалые щеки, и она, вытянув руку вперед, молча указала Хитрово на поставец с образами.

Боярыня чуть смешалась, не заметив в углу образов и при входе в горницу не перекрестившись; но она скоро оправилась и еще порывистее стала выкладывать царице свое знакомство с Грузией и ее обрядами.

– У вас много несогласий с соборной апостольской церковью, – продолжала она. – Первое несогласие – то, что церкви от алтарей не отгорожены, престолы везде наги и к стене приделаны; служите вы в неосвященных церквях, крестов ни на одной церкви нет и не бывало, мотаете рукой не по истине и кланяетесь, смотря на небо, а не на иконы. Женятся у вас будто без венца, и ежели дети будут, то венчаются, а ежели не будут, то, покинув старую жену, берут иную. Всякие люди будто входят у вас в церковь в шапках да в соболях... свадьбы играют в

Великий пост и в Благовещение... Какие же вы настоящие христиане после того? – победоносно усмехнувшись, закончила Хитрово и торжественно оглянула всех.

Но царевна уже вполне овладела собой, и, хотя слова русской боярыни жестоко оскорбили ее религиозное чувство, она и вида не показала, что обиделась, а ровным, внятным голосом ответила ей на довольно чистом русском языке:

– Не знаю, боярыня, не обучена я, как бы следовало, церковному знанию, но известно мне, что не тем вера велика, как крестное знамение сотворить, и где алтарь поставить, и когда венчаться! В шапках у нас ходят в церковь потому, что это древний обычай, и в этом нет греха, а грех в церковь ходить и не Богу молиться, а судачить и зло творить; как известно тебе, царь ваш Иоанн Васильевич в церковь ходил чинить расправу да над митрополитом издевки делать, вот грех где. Не в том грех, что жену бесплодную с честью на людях домой отослать: Сам Господь повелел Аврааму служанку взять себе в жены, потому что Сарра была бесплодна. Иисус Христос велел смоковнице высохнуть за ее бесплодие, так в чем же тут грех? Я думаю, грех-то там, где постылую жену в монастырь гонят силком или – что еще хуже – в гроб вколачивают со злобой...

Царевна говорила, все более и более воодушевляясь; видно было, что она хорошо ознакомлена с русской историей и русскими нравами. Она колола не в бровь, а прямо в глаз, и последние ее слова заставили боярыню Хитрово пугливо отшатнуться от нее и взглянуть на князя Пронского. Тот сидел бледный, угрюмо устремив на царевну свои мрачные глаза и пощипывая свою окладистую курчавую бородку.

– Ай да царевна! – кисло засмеялась Хитрово. – Умеешь ты своих защищать!

– Я не защищаю, а только оправдываюсь. Ты сказала, что мы не христиане, а мы были еще тогда христианами, когда на Руси о Христе никто и не слышал.

– Мудреное что-то говоришь! – всплеснула руками царевна Татьяна. – Как это возможно, чтобы вы раньше нас Христа знали?

– Мы были христианами, когда еще и Руси вовсе не было! – с гордостью произнес царевич Николай, все время молча и со вниманием слушавший спор.

Все улыбнулись; царевны Татьяна и Анна кинулись целовать его, но он вырвался от них и убежал; они погнались за ним, и скоро по всему дому раздался веселый смех девушек и царевича.

Елена Леонтьевна предложила гостям угощение; хотя она и ее свита, как и все приезжие из всех стран послы, пользовались на царский счет яствами и питьями, но все же она имела и свой запас кахетинского вина и восточных сладостей, вроде кишмиша и чурчелы, которыми с особым удовольствием и тайной гордостью любила потчевать своих русских гостей.

Елена Дмитриевна с удовольствием согласилась отведать вина.

– Бают, вино у вас чудесное? – улыбнувшись, спросила она все время молчавшего Джавахова. – Что, понятна ли тебе моя речь?

Пронский сказал, что князь хорошо говорит по-русски.

Боярыня заговорила с князем Леоном, предоставив Пронского царевне. Но та сидела потупившись и на предлагаемые князем Борисом Алексеевичем вопросы отвечала односложно.

Наконец прислужник-грузин вошел в комнату с подносом, уставленным сластями и сосудами с кахетинским вином; следом за ним вошли несколько грузин и две грузинки. Низко поклонившись всем по-восточному, они безмолвно расселись по тахтам. Грузинки же потупились, сложили маленькие руки на коленях, вытянули слегка ноги так, что из-под платьев виднелись кончики их атласных туфелек, и все застыли, точно изваяния, в этих неподвижных позах. Изредка которая-нибудь из них вскидывала черные жгучие глаза, но тотчас, будто испугавшись, что ее взгляд может обжечь кого-нибудь, торопливо опускала свои длинные ресницы.

Одна из грузинок была очень хорошенькая, смуглая, с крупными чертами лица, страстными полными губами и ярким румянцем на щеках; ее длинные черные косы, перевитые жемчугом, закрывали уши и спускались на грудь. Другая была совсем молоденькая некрасивая девушка с добрыми карими глазами и бледными тонкими губами.

Первая – княжна Каркашвили – как пришла, так сейчас же отыскала князя Леона, и ее черные, немного сросшиеся брови насупились, когда она увидела, что он оживленно разговаривает с голубоглазой красавицей гостьей.

– Кто это? – по-грузински спросила она свою маленькую подругу Саакову, которая робко взглядывала на статного русского князя, разговаривавшего с ее царевной и не обратившего никакого внимания на их приход.

– Не знаю! – тихо шепнула та. – А какая красавица, правда? Белая, как пена Арагвы, а глаза... Нина, ты видела когда-нибудь такие глаза? Я видела на образе у Божией Матери, знаешь, в Мцхете, в соборе...

– Замолчи, Гаяна! Она отвратительна! – скрипнув зубами, прошептала княжна, после чего Саакова с удивлением посмотрела на нее.

Между грузинами выделялся красивый старик с ястребиным взором и мягкой улыбкой; в его черных волосах проглядывала сильная седина, придававшая его загорелому мужественному лицу особую важность и величавое спокойствие. Он был одет богаче других, и его кинжал был осыпан драгоценными камнями; царевна одному ему кивнула головой.

Это был князь Джавахов, отец Леона, уполномоченный посол царя Теймураза и приближенный царевны Елены. Он приходился ей даже троюродным дядей. Испытанный в боях воин, храбрый, как лев, ловкий, как пантера, князь Вахтанг происходил из царского рода, но гордился не этим, а тем, что он – сын Грузии, которую любил наравне с единственным своим сыном и на служение которой отдал всю свою жизнь.

Отправившись в посольство с невесткой царя Теймураза и его внуком, он думал скоро уладить дело с русскими, испросив у московского царя все, что необходимо для грузин, и каково же было его нетерпение, когда ему пришлось сидеть без дела в Москве, в то время как на родине персы разоряли города и села грузин. Он ходил в Посольский приказ, спрашивал подъячих и дьяков о том, как подвигается их дело; дьяки выслушивали его, качали головами и, уставившись бородами в землю, в свою очередь глубокомысленно спрашивали:

– Зачем вы в Москву-то приехали?

– Приехали мы бить челом великому государю, чтобы пожаловал нас для православной христианской веры, велел принять под свою высокую руку в вечное подданство! – отвечали грузины.

Эти вопросы озадачивали и сердили князя Вахтанга, так как повторялись при каждом его посещении приказа.

Теперь, увидав наконец у царевны русских и узнав, что боярыня Хитрово имеет влияние при дворе, он решил через сына сам серьезно переговорить с нею. Его приятно изумило, что сын, видимо, понравился влиятельной гостье, потому что она слушала его с удовольствием, что выражали ее красивые, ясные глаза. Старик не понимал по-русски, но по оживленному лицу сына видел, что беседа идет, вероятно, о Грузии; он не пропускал ни одного их жеста и, покручивая свои седые усы, зорко следил и за царевной, видимо тоже с большой неохотой слушавшей князя Пронского.

Прибежали наконец и царевны с царевичем Николаем; они подсели к грузинкам и заставляли царевича переводить их робкие, короткие речи. Он, хотя и с акцентом, но довольно свободно, как все дети, выучился русскому языку и теперь с наслаждением вошел в роль толмача.

Царевны заливались веселым смехом, а грузинки застенчиво улыбались и смотрели на них со жгучим любопытством. Молодые грузины, безмолвно сидевшие на тахтах, таращили на

девушек свои черные, как маслины, глаза и изредка молодцевато поглаживали свои блестящие черные усы.

Анна и Татьяна Михайловны, смеясь и кокетничая, взглядывали на них, но вступать в разговор с ними все-таки еще не решались. Уж очень шло вразрез со всем укладом русской жизни первыми начинать беседу с мужчинами, что считалось весьма неприличным, да к тому же и грузины не умели объясняться по-русски.

VIII

Ревность

– А прежде у кого были вы в подданстве? – спросила боярыня Елена Дмитриевна князя Леона, ласково улыбаясь ему.

– Мы еще ни у кого в подданстве не были! Есть у нас царь Теймураз, и ему мы – подданные, а так как шах Аббас Персидский нас очень теснит и города наши разорению предает и мы одной веры с вами, а потому ваш царь может нам помочь... Узнают персы и турки, что русский царь нас под защиту взял, испугаются и к себе вернутся!

– Это точно! – кивнула головой Елена Дмитриевна. – А много ли у вас служилых людей и какой у вас бой?

– Ратных людей у нас восемь тысяч, бой лучной и копейный; все бывают в панцирях.

– Как рыцари! – произнесла Хитрово. – В каких местах вы живете, далеко от Терека? – с важностью спросила она, желая похвастаться перед иноземцем своими познаниями.

Грузин действительно с изумлением взглянул на красавицу, знавшую, что недалеко от их царства течет Терек.

– От Терека до Тушинской земли скорого хода четыре дня.

– Недалеко. А что, эта река, Терек-то, поди, меньше нашей Москвы-реки?

Князь Леон усмехнулся и ответил:

– Да любой приток Терека в два раза больше ее.

– Ой ли! Значит, Терек – как Волга?

– Терек не так широк, как Волга, но он бурливее, глубже Волги и красивее.

– Ну а скажи ты мне, – не унималась боярыня, с наслаждением прислушиваясь к гортанным звукам низкого голоса грузина, – есть ли у вас города и в каких местах вы живете?

– Как же городам, боярыня, не быть? – изумился Леон. – Таких городов, как наши Тифлис, Телав, Мцхет, не найти много, разве что Тегеран да Испагань таковы. Где столько садов с белыми дворцами и журчащими фонтанами? Где такая светлая, прозрачная река, как наша Кура? Где такие раины, буки или аллеи из роз и миндальных деревьев? Где еще растут спелые персики, абрикосы и такой душистый виноград, как у нас? Разве есть такие города, которые со всех сторон закрывались бы голубыми горами и их воздух был наполнен благоуханием цветов? О нет, ты не знаешь, нет лучших городов, как наш Тифлис и наша древняя столица Мцхет! – с воодушевлением говорил молодой грузин, и все с невольным вниманием прислушивались к его словам.

Старик Джавахов, поймав раза два знакомые имена, одобрительно закивал своей курчавой головой и с гордостью оглянул присутствующих.

Царевна Елена Леонтьевна уже давно перестала слушать, что говорил ей князь Пронский, и с разгоревшимися щеками смотрела на князя Леона. Княжна Каркашвили вся подалась вперед; забыв всех, она не отрывала своих черных страстных глаз от юного оратора. Когда он на минуту остановился, чтобы перевести дыхание, боярыня Хитрово проговорила своим воркующим, нежным голоском:

– Ах, уж вижу, ты – кулик!

Леон и царевна не поняли ее и попросили объяснения.

– А то и значит, что всяк кулик свое болото хвалит! И плох тот кулик, который своего болота не хвалит, а хайт! А чтобы ваш Тифлис на самом деле так хорош был, что-то плохо мне верится. Вы, что черные орлы, на страшных высотах гнезда вьете; как же там городам быть красивыми? Что-то не пойму я.

– Чтобы понять всю красоту нашей страны, надо видеть ее! – взволновался князь Леон.

– Эка, что сказал! – рассмеялась боярыня. – К вам ехать, ехать – не доехать, в тридевятую землю, в тридесятое царство ближе, поди, съездить.

– Мы же приехали! – многозначительно проговорила царевна Елена и впервые прямо в упор взглянула в глаза боярыне.

«Ну и баба, – подумала боярыня, – воля-то какая да силища видны в глазах! Поборемся, поборемся, матушка, люблю и я побиться, силушкой вдовьей помериться. Ты моего Бориса сушку, свет ясна сокола, на свою жердочку переманить хочешь? Да у меня позволения, красавица, на то не спросила, а время не пришло мне князя-то моего от себя освободить, люб он еще мне, касатик!» – И с особой нежностью она окинула статную фигуру Бориса Алексеевича.

Иногда ее самолюбивое сердце жаждало любви и привязанности, и тогда ей казалось, что Пронский ей особенно дорог и необходим. Но Пронский не глядел на нее, а сидел глубоко задумавшись. Она окликнула его:

– Что, князь, свет Борис Алексеевич, затуманился?

Пронский дрогнул, недоумевающим взглядом окинул всю комнату, провел рукой по глазам, точно снимая с них паутину, и спросил боярыню:

– Долго мы еще хозяйшкe надоедать станем?

Царевна заволновалась. Сказано было много, смеха и шуток было довольно, а до главного – до того, о чем стонало сердце грузинской царевны и ее свиты, – все еще не договорились. Боярыня, должно быть, и думать забыла, чего от ее визита ждала невестка царя Теймураза; князь Пронский, видно, другим чем был озабочен, а не делами грузинскими; царевны смеялись и шутили с царевичем и даже не слушали серьезных разговоров.

При вопросе Пронского по губам Елены Дмитриевны змеей пробежала улыбочка; она поняла, что творилось в гордом сердце царевны, но на помощь прийти не захотела. Любила она посмотреть, как люди свою гордость от нужды теряют, а тут еще царевна, хотя и чужой земли, будущая царица, перед нею, простой боярыней, должна была преклониться. И ждала боярыня лстивых речей, просьбы жалостной от царевны грузинской.

Но гордые уста Елены Леонтьевны не раскрывались. Она чувствовала, что судьба родины теперь всецело зависит от нее и этой белокурой, белотелой красавицы, так спокойно, так победоносно стоявшей перед нею, но у нее не было сил унижаться, вымаливать милостей у той женщины, которую она сразу инстинктивно возненавидела со всем пылом своей страстной, неукротимой натуры.

Обе женщины стояли друг перед другом: одна – сильная своей силой и властью, другая – слабая, беспомощная.

– Прощай, царевна, спасибо за хлеб, за соль! – проговорила наконец Хитрово, и углы ее полных губ опустились, что означало ее крайнее недовольство.

– Что ж, боярыня, – начал вдруг Пронский, – ты не скажешь царевне, устроишь ли ей свидание с царем-батюшкой?

Хитрово метнула на князя грозный взгляд, но, притворно усмехнувшись, точно не понимая, спросила:

– А разве царевна хочет видеться с государем? Она меня не просила об этом.

Боярыня сделала ударение на слове «просила» и перевела вопросительный взгляд на царевну. У той в это время происходила тяжелая борьба между долгом и личным чувством.

Леон Джавахов понял, что обе женщины невзлюбили друг друга, что боярыня испытывает царевну, а последняя не хочет преклониться перед влиятельной боярыней. И вдруг Пронский очутился возле него и тихо шепнул ему:

– Пусть царевна просит свидания с царем... одно только слово, а прочее я уж устрою.

– Она попросит царевен! – также шепотом ответил Леон.

– Боже сохрани! – испугался Пронский. – Вечного врага наживете в боярыне.

– Но царевна ни за что не попросит ее...

– Надо заставить.

– Я скажу отцу, – и князь Леон указал на седого грузина, с нескрываемым беспокойством следившего за царевной и боярыней.

– Познакомь, князь, меня с ним.

– Он не говорит по-русски.

– Ничего не значит. Ты перескажешь. Пойдем!

Они подошли к старику, и Леон по-грузински передал ему в нескольких словах, что, видно, царевна не хочет просить боярыню о свидании с царем. Старик нахмурился и спросил сына, что же хочет от него этот мрачный русский. Леон пожал плечами. Пронский тогда взял старого Джавахова за руку и подвел его к Хитрову. Старик низко поклонился ей.

– Мой отец! – отрекомендовал Леон отца, не понимая, почему Пронскому понадобилось знакомить его с боярыней.

Пока боярыня Хитрово через Леона разговаривала с Вахтангом Джаваховым и царевной о положении Грузии, князь Борис Алексеевич подсел к царевнам и царевичу и тихо шепнул Анне Михайловне, чтобы она, прощаясь, спросила царевну Елену, желает ли она видаться с государем.

– Только смотри, царевна, боярыне об этом ни слова! – попросил Пронский.

Анна Михайловна лукаво погрозила ему пальцем.

– Что, небось боярыню больше боишься, чем брата? – вполголоса спросила она.

– И-и, куда! – отмахнулся князь. – Так сделаешь, о чем прошу, царевна?

– А ты приведешь к нам в терем того вон, глазастого, что таращится на меня? – засмеялась царевна. – И грузинок этих. Потешные они!.. Смотри, князь, вон та, маленькая, с тебя глаз не сводит; зная, заполонил ты ее девичье сердце!

– Ой и шустрая же ты, царевна! Смотри, галчонок-то ушонки наострил, – указал Пронский на царевича, силившегося расслышать их беседу, и прибавил так, чтобы царевич слышал: – Так скажешь царевне Елене Леонтьевне?..

Анна Михайловна утвердительно кивнула головой. Пронский отошел от них и подошел к царевне Елене с поклоном.

– Государыня царевна! – проговорил он, низко опуская голову. – Бью челом на добром угощении.

Князь Леон по-грузински что-то шепнул царевне; она чуть вспыхнула и протянула князю кончики тоненьких пальчиков; он прикоснулся к ним, но сейчас же отошел и прислонился к стене, точно ноги не держали его. Он был бледнее обыкновенного, и на его лице лежали какая-то растерянность и печаль.

Боярыня Хитрово из-под ресниц вбок взглянула на него и шумно стала звать царевен домой.

Когда Анна Михайловна целовала бледные щеки царевны, то вдруг, к изумлению сестры, царевны Татьяны, и Елены Дмитриевны, проговорила:

– А что ж, царевна, когда хочешь увидеть брата-царя?

Царевна Елена смутилась.

– Не когда я хочу, а когда он соизволит назначить явиться мне пред его очи! – ответила она трепещущим голосом. – Я-то уже больше двух лет этого хочу, – прибавила она с горечью.

– Я скажу братцу... я попрошу! – смутившись, в свою очередь проговорила Анна Михайловна, встретившись с суровым взглядом Хитрово.

– Просите боярыню, просите! – прошептал Пронский на ухо царевне Елене.

Та посмотрела на него глазами раненой лани, которую насильно заставляют идти вперед, но Вахтанг Джавахов что-то повелительно сказал ей, на что она ответила ему одним словом и опустила на тахту.

Боярыня Хитрово уже медленно плыла к дверям, погладив по головке царевича Николая и многозначительно улыбнувшись князю Леону, который пошел провожать ее. Царевны шли сзади, посылая поцелуи царевичу и зовя его и царевну к себе в гости.

Князь Пронский, как только боярыня Хитрово исчезла в дверях, подошел к Елене Леонтьевне и почтительно проговорил:

– Не кручинься, царевна, дело уладится. Животы за тебя отдадим, а свидание с государем уладим.

– Спасибо, князь! – проговорила оправившаяся царевна и подняла на князя взор.

Пронский содрогнулся, точно его опалило огнем, и, поклонившись, поспешно вышел из комнаты.

Скоро послышался за окнами лязг полозьев о снег, и сани с гостями отъехали.

– Ужо зайдешь вечерком! – сказала боярыня Пронскому, отъезжая.

При этом повелении лицо князя потемнело, но он безмолвно поклонился и отошел к своим саням.

Когда боярыня с царевнами совсем исчезла из его глаз, князь еще раз посмотрел на окна, в надежде увидеть царевну, но на него оттуда глянули лишь робкие карие глаза маленькой грузинки; в них стояли тоскливый укор и надежда, что он ее заметит.

Князь отвернулся с досадой и, нахлобучив соболью шапку на самые глаза, велел кучеру ехать домой.

– Да скорей! Не зевай! – сердито сказал он.

– Пьяных много, боярин! – заметил кучер, ослабляя вожжи, и пара кобыл в серых яблоках как стрела помчалась по пустынной Неглинке, разметывая копытами рыхлый белый снег. – Как бы беды не вышло на площади!

– Знай дуй в мою голову! Дави! Я отвечаю! – свирепо приказал князь, подставляя ветру свое разгоряченное лицо.

На счастье кучера, при звуке его зычного голоса встречные пугливо шарахались в сторону, и сани летели беспрепятственно вперед.

IX Тайный ход

Лошади князя Пронского остановились как вкопанные у красивого дома в Китай-городе.

Это здание отличалось как своей относительной прочностью и обширностью, так и оригинальностью архитектуры. По всему было видно, что та постройка – дело рук иностранного архитектора, к которым Москва начала обращаться с XVI века и которыми были уже построены несколько церквей, дворцов и частных домов. Дом, или даже скорее дворец, князей Пронских был построен недавно, при отце Бориса Алексеевича, итальянским художником во вкусе Возрождения.

Борис Алексеевич, выйдя из саней, потрепал взмыленные шеи тяжело дышавших лошадей, приказал отпустить кучеру чарку водки, вошел в свои роскошные палаты и велел подавать обед, предварительно спросив, дома ли дядя Иван Петрович.

– Князь Иван Петрович уехали во дворец! – ответил старый ключник Ефрем. – Прикажешь в большой столовой палате накрыть тебе, батюшка князь? – не глядя на Пронского, спросил он.

Борис Алексеевич зорко глянул на старика.

– Ты что, Ефрем? – с расстановкой мрачно шепнул он. – Опять там был?

Ефрем без слов со стоном упал к его ногам.

Князь толкнул его прямо в лицо, но легонько, красным сафьяновым сапожком.

– Говори, стервец, что еще там? – спросил он, скрипнув острыми, как у волка, зубами.

– Батюшка! – простонал старый ключник. – Не вели казнить на слове...

– Говори, что ль! – крикнул князь, зашагав по палате с заложенными за спину руками.

В одном исподнем кафтане из малиновой парчи с золотыми пуговками на могучей груди, туго перетянутом шелковым кушаком вокруг пояса, статный и сильный, князь вполне мог бы назваться красавцем, если бы не злобная усмешка, кривившая его тонкие губы под холеными усами, да невыносимо жестокое выражение, мелькавшее в его глазах.

– Зачем шлялся без меня, старый дьявол? – слетало иногда у него во время доклада ключника.

Старик, хватая его на ходу за ноги и ползком ерзая за ним на коленях, всхлипывал и говорил:

– Не мог, не мог, батюшка боярин! Ты второй день у нее, сердешной, не был... мучилась она с голода!.. Я не знал, пойдешь ли и сегодня... Водицу всю выпила, плакала ночью, причитала, бедная, ночью, как горlinkа! Молила меня: «Убей, – говорит, – меня, убей, только не мучь!» О ребеночке спрашивала!

– Обоих вас велю замуровать! – страшно усмехнувшись, проговорил Пронский. – Ну, да с тобой у меня расчет после будет. А теперь бери фонарь, пойдем.

– Осмелюсь молвить! – дрожа и едва будучи в силах подняться, начал Ефрем. – Там, в большой столовой палате, все собравшись. Прикажешь ждать?

– Вестимо дело, подождут, не помрут, чай, с голода. Ступай, неси фонарь!

Старик вышел и скоро вернулся с потайным фонарем.

Они прошли две комнаты и вошли в третью, совершенно темную, служившую шкафной. Здесь князь подошел к одному шкафу, вложил в него из связки ключей, поданной ему Ефремом, один ключик поменьше и отворил им дверцы. Шкаф был пуст, и в нем было темно, как в гробу.

– Посвети! – шепнул князь.

Ефрем поднял фонарь, князь заметил в одном углу кольцо, прикрытое дощечкой, приметной только опытному глазу, и потянул за него; пол подался, открылась крышка над железной винтовой лестницей, и князь стал спускаться вниз, взяв у ключника фонарь.

– Ты останься наверху! – приказал он старику. – И смотри – не подслушивать, худо будет... Да не тебе будет худо, а Аришке твоей, смотри! – И он захлопнул за собою крышку.

– Ирод, право, ирод! – зашептал старый слуга всего рода Пронских. – Аришка моя, родная, как убережешь мне тебя от иродовых глаз?

По морщинистым щекам старика, по седым усам и бороде катились слезы. Он приложил ухо к скважине, и ему послышался визг ржавых петель на дверях.

– Входит! – прошептал старик. – Господи, сохрани и помилуй ее, голубушку безвинную!..

Глухо раздался подавленный крик, и все разом смолкло. Ефрем поднялся и отошел от крышки...

Между тем князь Пронский открыл небольшую железную дверь и осветил фонарем подземелье. Там, в углу, на охапке соломы лежала женская фигура, завернутая в линючий голубой атлас. Когда Пронский приблизился и навел свет фонаря на женщину, она дико вскрикнула и вскочила на ноги, но, узнав князя, дерзко рассмеялась и опять села на солому, проговорив по-русски, но с акцентом одно лишь слово:

– Палач!

Боярин точно не слышал этого. Он придвинул единственную табуретку к пленнице и, придав своему лицу мягкое и нежное выражение, заговорил:

– Княжна, я пришел к тебе с миром! Хочешь ли дать мне руку?

Он взглянул на сидевшую перед ним женщину ласково и вопросительно.

– Волк в овечьей шкуре! – ядовито проговорила она по-польски. – А зубы-то, зубы все-таки волчьи видны! Боже! – заломив изящные ручки, простонала несчастная. – И когда-то я целовала, я миловала эти губы, эти кровожадные глаза!

Она в иступлении упала на свою жесткую, сырую солому. Роскошная волна выющихся пепельных волос разбежалась по ее худым белым плечам и закрыла лицо.

– Ты и теперь любишь меня, Ванда! – нагнувшись к самому ее уху, прошептал князь. – И я за этим пришел... Я пришел сказать тебе, что виноват перед тобой и, если ты хочешь, мир может наступить между нами!

Да, князь умел говорить ласковые, нежные речи, мог придавать своему суровому голосу мягкие ноты, а своему красивому, но мрачному лицу с суровым взглядом – любящее и страстное выражение.

Пленница при звуках этого когда-то дорогого голоса подняла голову, откинула с лица волосы и устремила на него недоверчивый и изумленный взор.

Это была, вероятно, чудная красавица, да иначе князь Пронский, этот баловень женщин, не добивался бы с таким упорством ее любви; однако лишения и сердечные муки согнали с ее ланит нежную краску и положили темные круги вокруг великолепных синих глаз; эти глаза с длинными, загнутыми ресницами да зубы, ровные, как отборный жемчуг, только и остались от былой красоты. Маленький, прямой носик заострился, как у живого мертвеца; бледные губы точно приросли к деснам, а ее грудь и щеки глубоко запали. На худых плечах висела выцветшая кацавейка небесного цвета, опушенная горностаем; голубой атласный сарафан и высокие польские сапожки дополняли костюм.

– А где мое дитя? – спросила полька своего мучителя.

– Ты увидишь его, когда...

Радостный крик огласил темницу, и пленница упала к ногам князя и стала ловить его руки. Ее бледные щеки окрасились легким румянцем, в глазах засветилась надежда, на губах появилась улыбка. Она вдруг стала прекрасной.

Борису Алексеевичу вспомнилось, сколько счастья пережил он на этой любящей груди, как ласкали его эти худые теперь ручки, какие нежные слова шептали ее бледные ныне уста, и страстно сжал в своих сильных руках ее тонкий, гибкий стан.

Полька склонила голову ему на плечо и, стараясь заглянуть в глаза, зашебетала, как ласточка:

– О, мой Борис, видно, прошли злые дни, миновало лихое горе; ты испытывал меня, мою любовь, но ты узнал, что я люблю тебя, и теперь наступит для меня рай. Так ведь? Скажи? Пойдем, пойдем!.. Уведи меня отсюда, из этого мрачного подземелья, где я так много безвинно страдала...

Но князь уже отвел свои руки от нее, и она подняла голову.

– Ты увидишь сына! – начал он, но она опять остановила его и, вся сияя материнским счастьем, залепетала:

– Сына? Боже, я увижу своего малютку! Борис, ты добр, и я виновата перед тобой. Я проклинала тебя, призывала на твою голову всевозможные беды и несчастья, а ты думал о моем малютке...

– Но он и мой, Ванда! – напомнил Пронский.

– Милый мой! – прошептала Ванда, обвивая его шею руками и забывая, что она еще в темнице. – И твой сын – наш сын! Но пойдем же, пойдем скорее к нему!.. Что ж ты медлишь? Или он болен? – с невыразимым страданием произнесла она. – И ты пришел сказать мне, что надежды нет, что жить не для чего?

– Нет, он жив и... и здоров, но, Ванда, слушай!

– Да, да! Я буду слушать, но пойдем, пойдем отсюда, пойдем скорее! Разве ты не видишь, что я задыхаюсь здесь, что здесь темно и смрадно, как в могиле, что здесь дышать нечем... Я долго жила здесь, много мучилась, но тебе все простила: и свою загубленную молодость, и исчезнувшую красоту, и даже то, что ты отнял от меня малютку, не дав мне насладиться моей любовью. О, ты не знаешь, что переживает мать, давая первый поцелуй своему ребенку!.. Надо самому испытать это, надо быть матерью, чтобы понять это! И вот за то, что ты обещаешь мне дать это наслаждение еще раз... много раз... я прощаю тебе все, я забуду все, что ты мне сделал...

X

Княжна Ванда

Борис Алексеевич резко остановил ее:

– Постой же, княжна...

– Опять! – вскрикнула она, широко раскрывая глаза, которые постепенно приобретали выражение ужаса. – Опять ты меня так называешь?

– Постой, Ванда! – поправился князь. – Ты все так же строптива! Я пришел за тобой, уведу тебя отсюда, дам тебе свидеться с... сыном, но прежде всего ты должна обещать мне исполнить мою волю.

Ванда понемногу отступала к двери и нетерпеливо взялась за замок.

– Ты должна написать отцу, – продолжал между тем князь, отчеканивая каждое слово, – что все про меня ему наклепали, что ты бежала с моим стремянным Лукою, что у тебя от него и сын...

Ванда с пронзительным криком отскочила от двери и заломила руки.

– Опять то же! – воплем вырвалось у нее. – Опять это гнусное предложение, опять эта ложь!.. О изверг, что ты хочешь от меня? Разве ты мало еще мучил меня?

– Ты хочешь видеть сына? – холодно спросил Пронский.

Она застонала и как подкошенная повалилась на солому.

– Такою ценой? Ценой его позора? – простонала она.

– Иначе ты его никогда не увидишь и умрешь здесь, в подземелье.

– Палач! Изверг! – закричала, впадая в иступление, пленница. – Нет, я этого никогда не напишу, не дам тебе торжествовать, гнусный злодей! Я жена твоя и умру ею; я не отниму у своего сына имени, принадлежащего ему!

– Баба, – с презрением произнес князь. – Разве ты забыла, что я один судья и волен назвать тебя своей княгиней или нет?

– Лжешь ты, змей! Мучил меня угрозами, что не поп нас венчал, что не князем крещен мой малютка, лукавишь все, лжешь... Знаю, что я венчана с тобой по закону и что наш сын – законный и единственный твой наследник!

Князь угрюмо смотрел на молодую женщину; при каждом ее слове, при каждом ее выкрике в его стальных, холодных глазах вспыхивали зловещие огоньки.

– А! Значит, тебе все известно? Ефрем сказал? – И князь плотно сжал губы. – Ну, заплатится он мне за это.

Ванда спохватилась, что нечаянно выдала человека, горячо сочувствовавшего ей, но такого же беспомощного, как и она, и попыталась защитить его:

– Никто ничего мне не говорил... сама догадалась. Если бы мы не венчаны были, не боялся бы ты удушить меня...

– Ладно! Не вызволяй Ефрема – будет помнить, старая лисица, как языком звонить. А ты, княгинюшка, – ядовито произнес он, – поразмысли, как это я могу у двух жен мужем законным быть?

– Ведь первая-то жена твоя в монастырь ушла?

– Ушла, да назад вернулась. Вот ты и раскинь умом, чей я муж законный?

– Я пойду к ней... вымолю сожаление к себе и сыну.

– Эвона! – протяжно свистнул князь. – Она, поди, и имя твое слышать не захочет.

– Не ради меня она в монастырь пошла.

– Да знала, чай, она, что ты у меня зазнобушка.

– Зазноба! – хватаясь за голову, простонала Ванда. – Зазноба! Я, дочь люблинского воеводы, дочь славного князя Ключинского, зазноба русского боярина, исконного врага нашего!

– Ну, будет юродствовать! – сурово перебил ее князь. – Думала бы прежде, когда молодца по веревочной лестнице к себе в горенку принимала.

Точно раненная, воспрянула молодая женщина и гордо выпрямила свой гибкий, невысокий стан.

– Ты... ты смеешь теперь укорять меня, что я принимала тебя в своей горнице? О, будь проклят тот час, когда я впервые увидела твое лживое лицо, услышала твой гнусный голос, когда я поверила твоим лживым речам! О, пусть будет проклят самый день моего рождения за то, что я обманула отца и доверилась тебе...

– Ну, будет! – остановил ее Пронский. – У вас, у баб, только и есть, что или на коленях метаться, или проклинать походя, а нет того, чтобы умом раскинуть – мол, насильно мил не станешь. Любил я тебя, паненка, чудилось мне, что никого больше так не полюблю! Ну, что же, видно, за себя никому не ответить... Не люблю я тебя больше! Другую полюбил, да как полюбил!.. Ах, как полюбил! Лют я был, сказывали, а теперь еще лютее стал, в крови хочу стон сердца потопить!

Он умолк, сел на табуретку и склонил голову на грудь.

А княжна стояла, прислонившись к земляной стене своей темницы, и уже без злобы и ненависти глядела на это все еще дорогое ей, когда-то безумно любимое лицо, теперь такое несчастное, такое исстрадавшееся. Она забыла на мгновение все окружающее, и чудились ей апрельский вечер, синее бесконечное небо с пробежавшими по нему розоватыми облачками, вековые дубы и расчищенная, нарядная аллея Саксонского сада в Варшаве с разношерстной, нарядной толпой, сновавшей по ней пешком и в богатых экипажах.

Вот мелькнул экипаж с красавицей Любомирской; вот князь Понятовский на вороном скакуне, а вот и чудный боярин, в собольей шапке, правит удалой тройкой; он часто и подолгу ездит по главной аллее, замедляет бег своих белых коней и не сводит холодных, каких-то загадочных очей с раскрасневшегося личика Ванды Ключинской, дочери воеводы люблинского, только что приехавшего в Варшаву, чтобы представить свою Ванду ко двору короля польского Яна Казимира.

Ванда Ключинская сразу была признана первой красавицей; вся польская знатная молодежь готова была положить к ногам княжны свои имена и богатства, но она спокойно взирала на это поклонение, и ее сердечко не било тревоги. Воспитанная стариком отцом, рано лишившаяся матери, Ванда не придавала никакого значения блеску и шуму светской жизни. Она любила уединение, тихие душевные беседы и свой родной Люблин с домом, окруженным тенистым садом и бесконечным простором полей.

Ванда сильно смутилась и не знала, куда спрятать свое свежее зардевшееся личико, когда отец и князь Чарторийский подвели к ней высокого боярина. Он устремил на нее свои глаза и точно вмиг заколдовал ее взглядом. Ее сердце трепетно часто забилося, а синие глаза полузакрылись.

Князь говорил по-польски, и его речь зажурчала, как светлые воды Вислы. Ванда слушала и млела, и легкий сладостный трепет пробегал под ее светло-зеленым кунтушом с бобровой оторочкой. Молодая, еще не вполне развившаяся грудь вздымалась порывисто, неровно...

Потом она слышала много ужасного, много сказочного об этом русском богатыре. Княгиня Любомирская на одном балу, не заметив Ванды, рассказывала, как одна полька, жена небогатого чиновника, из любви к нему кинулась на его глазах в Вислу, а он даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти ее. Другой раз Ванда услышала, как его имя связали с именем самой Любомирской, и сердце Ванды билось все сильнее, все трепетнее. А он, этот чародей, стал неотлучно преследовать ее своим вниманием.

Отец поощрял эти ухаживания, потому что князь Пронский считался влиятельным человеком при русском дворе, с которым король Казимир вел важные переговоры, и потому еще,

что князь считался богатым и знатным боярином, и, следовательно, княжна Ключинская не могла унижить себя, позволяя ухаживать за собою родовитому русскому князю.

Эти ухаживания сближали молодых людей; юная, неопытная девушка и много переживший тридцативосьмилетний мужчина находили, о чем беседовать, и, конечно, не скушали в обществе друг друга.

В воспоминаниях Ванды мелькнули жаркий летний день, тенистый сад в старинном замке Ключинских, в Люблине.

Солнце печет; тихо кругом; безоблачное небо опрокинулось над зеленым густым лесом, да чуть слышно журчит неподалеку светлый ручеек. Ванда скинула сапожки, отбросила на траву шляпу и спустила в воду свои белые ножки. Вода перебегала по ее пальцам, щекоча и охлаждая ноги. Ванда опрокинулась на траву, заложила под распустившиеся волосы руки и устремила взор на него. Знойная истома, страстная нега пробегали по ее телу; ее губки полуоткрылись, точно ища поцелуя, а из глаз тихо текли слезы.

Ванда плакала! Ванда грустила! Недавно вернулась она с отцом из Варшавы, где он, к крайнему своему сожалению, ни за кого не выдал свою красавицу дочь. Она упорно отказывала самым блестящим женихам, отговариваясь молодостью и желанием еще пожить вместе с отцом. Втайне же она ждала предложения Пронского и, хотя знала, что препятствий к браку будет немало, надеялась все-таки их побороть. Но князь Пронский предложения не сделал, а внезапно уехал в Россию.

Прошел целый год, княжна понемногу стала успокаиваться; ее сердце печально, но уже без прежнего томления вспоминало красивого боярина; отец стал опять поговаривать о поездке в Варшаву, и Ванда охотно выслушивала его предложения.

Вдруг Пронский неожиданно приехал в Люблин к самому воеводе Ключинскому с какими-то тайными поручениями от царя. Он представился княжне, долго смотрел ей в глаза, потом все время стал проводить, запершись с князем Ключинским.

Опять всколыхнулось и поднялось затихшее было в сердце княжны чувство. Она ходила как потерянная, томясь тоской; горячие слезы навертывались на ее глаза; она уходила из дома и в холодной свежей траве прятала свое горе, свои слезы и свою любовь. Так и в тот жаркий день она пришла поведать ручью, что князь скоро уезжает, что он о ней и не думает и слова еще не сказал ей ласкового, а уже уезжает в свою противную Московию...

Она так замечталась, что не слышала тихих, осторожных шагов по мягкой душистой траве, только слабо вскрикнула, когда две сильных руки охватили ее стан. Однако она тотчас же смолкла, потому что ее уста крепко целовал ее милый, ее любимый... потом стал целовать ее мокрые ножки, разметававшиеся волосы...

О, много-много счастливых часов и дней провели они сперва на берегу того ручья, где в первый раз он целовал ее, потом у нее в комнате, а затем по дороге в холодную, снежную Москву!

Жизнь в Москве промелькнула как сон. Болезнь, рождение ребенка и наконец эта страшная могила, где из прежней красавицы она превратилась в жалкую пленницу.

Разве это было не волшебство, что Пронский, любящий, нежный, вдруг разлюбил ее, а разлюбив, не отослал назад к отцу?

– Бедный отец! – прошептала несчастная жертва любви. – Я сократила своим бегством дни его жизни, а теперь и совсем убью его, если возведу на себя этот позор. Он и не знает, что важные бумаги передала я тебе, он не подозревает, что я предательница своей родины; он поверил, что стремянный Лука обокрал его и ты жестоко наказал его за это. О князь,пусти меня! – взмолилась она.

– Завтра же отправлю, если ты напишешь требуемое письмо!

– Но это – позор, позор! Боже, разве я мало вынесла, мало искупила свой грех?.. И для чего тебе это надо?

– Без этого я тебя не отпущу, – сурово повторил князь. – Или ты умрешь здесь, или дашь это письмо!

– Сжался! – ловя его колени, молила Ванда.

– Я сказал, и так будет!

– Ты ответишь за мою смерть! – крикнула Ванда.

– Никто, кроме Ефрема, не знает о тебе... А он скоро замолчит! – зловеще произнес князь.

Ванда в ужасе отшатнулась от него.

– Убийца! – с невыразимым презрением прошептала она.

– Да, я не стесняюсь с теми, кто становится мне на дороге.

– Так рази же своей рукой грудь, которую ты ласкал, на которой клялся быть мне защитником! – вскрикнула Ванда, подставляя ему свою исхудалую обнаженную грудь.

– Оставь меня! – оттолкнул ее Пронский. – Слушай! Я долго с тобою валандался и честью и угрозами. Вот тебе мое последнее слово: через три дня чтобы было сделано по-моему; Ефрем придет к тебе с бумагой; напишешь, что я приказал, – волю получишь, сына увидишь, не напишешь – замурую тебя здесь и околевай, как собака! Прощай! И то закалялся я с тобой! – И, не взглянув на свою жертву, Пронский вышел из подземелья, плотно закрыв железную дверь, о которую с воплями билась когда-то знатная польская княжна.

XI

Трапеза

Когда князь закрыл за собой крышку и поставил фонарь на пол, он оглянул шкаф.

Ефрем стоял у стены, и при слабом мерцании фонаря князь не заметил ни смертельной бледности, разлитой по лицу старика, ни ужаса, застывшего в его слезящихся полуслепых глазах.

Ефрем многое расслышал из того, что говорил князь в подземелье, слышал он и угрозу, посланную ему князем, и затрепетал всем своим тщедушным телом. Но не за себя, как и предполагал боярин, задрожал старик; он испугался за внучку свою, сиротку, девушку шестнадцати лет, единственным защитником которой был он, дряхлый, семидесятилетний дед.

Внучкой этой князь держал Ефрема в своих руках.

Ничего особенного не было в молодой девушке: ни красоты, ни ума; всего и было-то, что коса русая до колен да лицо румяное; зато нравом веселым, смехом беспечным всякому мила была Ефремова внучка Ариша. На нее давно стал поглядывать боярин, да хранили пока ее молитвы деда да его подслеповатые глаза.

И вот вдруг услышал дед, что погрозил боярин. «Польская княжна» сгоряча да с обиды, должно быть, головой его выдала, и Ариша теперь за него ответ даст, за старого, жалостливого, за то, что он чужую княжну пожалел, а о своей родной внучке и не подумал.

Знал старый ключник, что боярин не простит ему, если он все полячке расскажет, что венчались они как следует, что ее сын и в книги боярские записан будто от жены, а от какой – не помечено; многое еще Ефрем утаил от княжны, а именно, что ее сын помер давно и она напрасно, из желания свидеться с ним, согласится на все; что отец проклянет ее, когда узнает про ее бегство будто бы со стремянным, а главное – не сказал ей Ефрем, что все ее приданое, и деньги и жемчуга, которые прислал ей отец, когда узнал, что она хотя и против его воли, но честью повенчана со знатным русским боярином, князь себе оставил и из-за них хочет опозорить бедную и ни с чем отослать ее на родину. Всего этого Ефрем еще не сказал, пожалев княжну, а теперь и в том немногом, что сказал, каялся.

Стоя над подземельем и прикинув ухом к скважине, слушал старик, и его сердце разрывалось от жалости при звуках горестных стонов и мольбы бедной пленницы. Сколько раз хотелось ему захлопнуть крышку и, выйдя из шкафа, погresti в подземелье своего жестокого боярина, чтобы тем навсегда избавить всех от его кровожадности. Но ведь вместе с князем погибла бы невинная княжна, и старый ключник колебался, отбегал от крышки и молил Создателя спасти его от злого искушения...

Князь сумрачно пошел по светлым комнатам в большую палату; время от времени он со злорадной усмешкой посматривал на торопливо распахивавшего перед ним двери Ефрема.

Старый слуга шел пошатываясь, ничего не видя перед собой от застилавших его глаза слез. Связка ключей тихо побрякивала у него на левом боку, и он дрожащими пальцами мог едва находить нужный ему ключ.

– Аришку приведешь уже вечером... в угловую! – вполголоса сказал боярин Ефрему, стоя у высоких дубовых дверей столовой, откуда шел говор многочисленных голосов.

Старик дрогнул и на мгновение замер в оцепенении, а затем, как мешок с костями, опустился к ногам князя.

– Батюшка, отец родной, смилуйся! Вели лучше живым меня, старика, за провинность мою на огне спалить, вели кожу мою по кусочкам нарезать, вели язык мой бабий выжечь железом каленым, только ее, Аринушку, ослобони, оставь...

– Пошел, старик! – оттолкнул его ногой князь. – На что мне твоя дурацкая кожа, твой глупый язык, твоя старая жизнь? Я хочу душу твою грязную отравить, сердце твое изменническое поразить болью нестерпимую...

– Не изменял я роду твоему! Верой и правдой отцу твоему служил, на службе тебе составил; ужели же так за веру и правду ныне бояре платят?

– Молчи! Разве не честь тебе, хамову отродью, что на внука твою сам князь Пронский глянул с любовью...

– Лучше убей меня, да и ее заодно!

– Прочь! Тебя убью, если хочешь, а рук моих твоей Аришке все же не миновать! – И, толкнув дверь, боярин вошел в столовую.

Медленно поднялся с пола старый ключник рода Пронских, грозя сухим, костлявым кулаком вслед князю.

– Будь ты проклят, ненасытный волк! – шептали его бледные губы, и его глаза с ненавистью были устремлены на двери; потом он поплелся в свою каморку и тут, упав на колени перед образом Спасителя, начал горячо молиться.

А в столовой в это время шел пир горой. Князь завел беседу со всеми своими родственниками и домочадцами, которых у него было немало в доме; обыкновенно он не говорил с ними и относился к ним надменно и свысока, но теперь удивил всех, спрашивая каждого о его житье-бытье, смеясь и выпивая одну за другою чарки с вином.

Маленький, юркий человечек, с плешивой головой и кривым глазом, с рыжеватой всклооченной бородачкой и красным толстым носом, все вертелся возле князя, стараясь смешить его и подливая ему вина. Это был домашний шут князя, Васька Кривой, не то беглый из Сибири, не то битый кнутами приказный, которого приютил Пронский. Плут, мошенник и пьяница, Васька всеми в доме князя был ненавидим, и все боялись его, потому что покровительство князя он снискивал темными путями, наущничая, сплетничая и выдавая своих товарищей.

Он умел смешить князя, а также и спаивать его. Заметив, что князь вошел в столовую мрачнее тучи, подболевшись и скорчив рожу, с лихой песней пошел ему навстречу, держа в руке чарку с пенистой брагой.

– Выпей, стерва, свет увидишь! – разухабисто кричал он и зорко смотрел князю в лицо своим кривым глазом.

Князь взял чарку и залпом осушил ее, потом сел во главе стола и потребовал обедать.

Все принялись молча хлебать из чашек рассольник; князь ел мало, но пил много, и скоро его серые холодные глаза вспыхнули удалью и весельем, и он обратился к Ваське:

– Васька Кривой! Расскажи, как тебя в Неметчине били за то, что девицы любили.

– А и что ж, князинька! – завертелся Васька подле князя. – И любили, крепко любили.

– С кривым-то глазом? – спросил кто-то.

– Я в те поры при всех глазах был, – хорохорился Васька.

– А окривел-то с чего?

– Глаза-то, поди, на девок проглядел?

– А волосы где потерял?

Васька злобно посматривал на говоривших и запоминал их лица, чтобы при случае отомстить им.

– Васька, говори, как тебя били! – приказал Пронский.

– А очень просто! Растянули на лавке да и всыпали сотни три, а то и больше палок... Теперь не упомню. Не то триста, не то четыреста.

– И жив остался? – рассеянно спросил князь.

– Не! – помотал головой Васька. – Тело мое брэнное живо осталось, а душу мою...

– Черт в ад сволок? – рассмеялся боярин. – Ты правду это, Васька, сказал: нет в тебе души, только богомерзкое тело и осталось... А вместо души – винный угар.

Князь смеялся, глядя на Ваську, одетого в странную кацавейку-безрукавку, широкие красные шаровары и в кунью шапку, а Васька вертелся, кувыркался, подливал князю брагу и вино и метал злобные, сверкающие взоры на всю княжескую семью и на самого князя.

– Князинька! – шепнул он незаметно на ухо Пронскому. – В корчме, у Севастьяна, для тебя припасена татарка... Хорошенькая! Как бес, вьется!

– Приведи! Два червонца получишь.

– Маловато! Севастьяну надо, почитай, вдвое дать.

– Ну, ладно, получишь десять, ежели хороша.

– А Марья глазастая удавилась! – вдруг громко выпалил шут и отскочил от князя на одной ноге, обутой в женский сапожок.

– Какая Марья? – сквозь хмель спросил, вздрогнув от неожиданности, князь.

– Та, что ты намерднись у князя Черкасского купил, та, что ты для девичьей взял... с черной косой!

– А! – произнес князь и отвернулся к окну.

И сквозь одолевавший его сон ему мелькнули бледное лицо с большими серыми глазами, черная, развившаяся коса, разметанная по белым плечам, и послышался низкий грудной голос, шепчущий ему: «Князь, не замай! Невеста я Прохора! Руки на себя наложу! Ей-ей, руки наложу!» Но не послушался князь, зверь в нем говорил, и, не любя, погубил он человеческую душу. И теперь он отвернулся от окна, где сквозь кисейные занавески на него глянуло заходящее зимнее солнышко, глянуло и, точно застыдившись такого злодея, сейчас же спряталось за тучку.

– Дьявол! – крикнул он, стукнув чаркой по столу. – Ты что, вздумал шутки шутить со мной? Или жизнь недорога стала? Давай вина!

Васька подскочил и долил чарку доверху.

Вдруг пришел холоп с докладом, что князя зовут к боярину Черкасскому, которого ранили утром на улице; думали было, что он кончается, но боярин пришел к вечеру в себя и послал за князем Борисом Алексеевичем.

– Есть лекарь у него? – спросил князь Пронский посланного. – Кто?

– Царский лекарь Стефан Симон! – ответил посланный. – Боярин дуже мучился... теперь полегчало.

– Кто же это его саданул?

– Неведомо. Андрюшка-кучер сказывал, чужеземец какой-то: боярин-де в кулачный бой хотел вступить...

– Чужеземец ранил? – спросил князь. – А ведомо кто?

Холоп отрицательно покачал головой.

– Хорошо, ступай, скажи боярину, скоро буду! – И, не поклонившись домочадцам, князь вышел в свои покои.

ХII

Заговор

В маленькой каморочке Ефрема было тихо; наступавшие сумерки чуть пробивались сквозь крошечное оконце и едва освещали сгорбленную фигуру старика над столом.

– Ефрем! Ефрем! – окликнул его кто-то шепотом в щелку двери. – Ты здесь?

– Здесь, что надоть? – слабым голосом ответил старик.

– Обедать чего не идешь? Остыло, поди, все.

– Я не хочу есть. Да кто тут? Входи, что ль!

– Попритчилось что? – прошмыгнув в дверь и садясь на лавку, спросил Васька Кривой. – Разве что случилось? Князинька-то чернее тучи пришел и ужпил, ужпил, куда только в него лезло? От Черкасского князя пришли звать. Сказывают, ранили.

При последних словах Ефрем поднял взор на говорившего.

– Так боярина, говоришь, дома нет? – оживившись, спросил он. – Ушел? А не сказывал, когда вернется?

– Велел вечерять в угловой готовить... Одному, чтобы плясуны и песенники были.

– Пропала моя головушка! – схватившись обеими руками за волосы, проговорил с надрывом Ефрем.

– Что так? Да говори, дед, в чем дело? Может, каким ни на есть советом и помогу тебе.

– Где уж мне помочь! Пропал, совсем пропал!

– Да ты расскажи. Знаешь, чай, что Васька Кривой – не враг тебе? Рассказывай! Ты Ваську из беды вызволил, может, и он тебе на что-либо пригодится.

– Нет, Васенька, никому беде моей не помочь, супротив боярина никому не пойти! – И слезы потекли по морщинистым щекам ключника.

– И упрям же ты, как погляжу! – покрутил головой Васька. – Ну, отчего же не сказать? Хуже оттого не будет. Нет? Ну, так и говори.

– Срамотно.

– Эвона! Меня-то срамотно? Да нешто я видов не видал? И что ты, старик богобоязненный, срамотного наделать мог?

– Видно, прогневил я Бога.

– Ну, да ладно, будет уж причитать, сказывай знай! Или забыл, что князиньку я часом веселю, а часом и душой смущаю? Сегодня за обедом он смеется, зубы скалит, а я ему шашть на всю комнату: «Марья, мол, глазастая, удавилась». Он побелел весь да как зарычит на меня!..

– А вправду Марья удавилась? – спросил Ефрем.

– Вправду. Утром по обедне! Взяла веревку и на крюке печном и удавилась. Дура-баба, известно! Онамеднись боярин-князинька ее, хамку, к себе в угловую звал... а сегодня она удавилась. Известно, хамка.

– Что ж, Васька, – глухо спросил старик, – по-твоему, у хамки и души нет?

– Известно – пар! – презрительно ответил Васька.

– А ты сам-то – не хамово отродье?

– Я-то? – гордо закинув лысую голову, проговорил Васька. – Я-то не весь хам; почитай, и во мне боярская кровь течет, да еще какая: ромодановская-стародубская!

Ефрем невольно улыбнулся этому смешному самозванству; он часто слышал, что Васька считал себя побочным сыном боярина Ромодановского, но плохо верил этому, потому что уж очень безобразен был отпрыск Ромодановских.

– Ты не смотри, что у меня глаз кривой да плешь во всю Красную площадь, – обидчиво заметил Васька, – в молодости девки на меня во как заглядывались!.. Ну а как же ты-то? Не скажешь, какая кручина?

– Да что ты словно банный лист к мокрому месту пристал? Ну, князь Аришку в угловую зовет повечеру, – хриплым, надорванным шепотом закончил Ефрем.

Васька так и остался с открытым ртом и только моргал своим единственным глазом.

– Арину Федосеевну... зовет? – наконец прошептал он. – Почему же ее? Или... любя?

– Давно зубы точит, да, вишь, мою старость жалел, ирод! – криво усмехнулся Ефрем.

– Провинился ты чем-либо?

– Провинился, провинился тем, что чуточку душу живую пожалел. Слушай, Васька! – вдруг освирепев, обратился старик к Кривому. – Заодно погибать! Хотя и ты и я пособники были его богомерзким деяниям, зато, видно, и наказует меня Бог, да не хочу я, чтобы, меня погубя, он безвинную душу сгубил... До сей поры, кроме него да меня, раба смрадного, никто не знал, что в подземелье у него томится княжна польская! Больше года, сердечная, томится! Очень, бедная, мучается. И вот за то, что я многое открыл ей, он казнит меня казнью лютою: Аринушку мою, голубку чистую, погубить хочет, злодей. Крепился лютый до сей поры заслуги моей ради... а теперь... теперь, – голос старика оборвался, и он рукавом от кафтана вытер свои слезы.

– Мало ему девок свободных по Москве гуляет? – злобно спросил Васька.

– Чистую, знать, захотел.

– Арина Федосеевна не пойдет на то волею.

– Силком поволокут; нешто спрашивать станут?

Старик поник головой, а Васька задумчиво устремил свой кривой глаз на оконце.

Зимние сумерки уже давно окутали землю; на улицах трудно было различать друг друга, и все торопились скорее скрыться в дома, где уже зажигали огни и было тепло.

В доме князя Пронского было темно, как в могиле. Домочадцы разбрелись по своим комнатам, кто спал после обеда и до ужина, кто тихо, вполголоса, беседовал с кем-нибудь, а кто сидел пригорюнившись...

Дворня, зная, что боярин ходит мрачнее тучи, приуныла, и уже не слышно было разудалых песен.

Младший ключник Егорка, рослый парень, искал Ефрема, но, узнав от его внучки Ариши, что тот у себя в светелке молится Богу, побоялся нарушить покой старика. Все в доме знали, что, когда дедушка Ефрем молится у себя в светелке, его нельзя тревожить и что верно приключилось в доме что-нибудь особенное, злое и жестокое.

– А знаешь, дед, что я придумал? – нарушил наконец молчание Васька, обращаясь к Ефрему.

– Что? – безучастно спросил Ефрем.

– Поезжай-ка ты к боярыне Хитрово. Знаешь, чай? Да скажи ей про все про это – про Арину Федосеевну и все прочее...

Ефрем усмехнулся:

– Думаешь, она его проделок не знает? Все знает и все покрывает.

– И про полячку знает?

– А кто ж их разберет? Должно быть, знает.

– Я так смекаю – не знает она. Потому, это – не девка-холопка, эта княжеского рода сама будет, значит, супротивница, а боярыня ревнива и себялюбива; гордости ее к холопкам не будет, а к княжне заговорит. И это князюшка беспрерывно смекнул и про княжну польскую ни словечка не молвил.

– А ежели молвил?

– Ну, что ж? Двум смертям не бывать, одной не миновать. Если он молвил, не сносить тебе своей седой головы, а если нет...

– Все едино. Княжну, может, этим спасу, а Аринушку...

– Кто знает, може, этим случаем и Арину Федосеевну вызволишь.

– Ни в жисть! Когда еще боярыня Хитрово узнает да когда княжну увидит, а тем временем Аринушка моя сгинет, вовсе сгинет.

– А и что ж за беда? – равнодушно заметил Васька. – Полюбовницей боярина делается: тебе хорошо будет, да и ей, да и всем хорошо жить.

– То-то Марье хорошо жилось.

– Так ведь та дура, не сумела его под свою власть взять. Это уж их, бабье, дело.

– Взяла его боярыня, скажешь?

– А что ж, он ее здорово боится!

– Потому и боится, что она – сила при царе, а то бы он показал ей, как над ним силу брать. Нет уж, где моей Арине властвовать: целой бы уйти, и то хорошо!

– А уйдет! – вдруг радостно крикнул Васька.

– Как это? – не понял Ефрем. – В бегуны пойти? Ой, жизнь-то в бегунах тяжкая...

– Зачем в бегуны? Мы честью! Да ты, дедушка, не сумлевайся... коли Васька Кривой сказал, что Арина Федосеевна рук боярских минует, так и сбудется!

Ефрем подозрительно оглянул княжеского шута. Не привык он слышать от него такие речи.

– Ты что, парень, больно добр стал? – спросил он его.

Васька вспыхнул до корней волос, но старик за темнотой не заметил этого и продолжал:

– Даром-то, знаю, ничего делать не будешь. А как ты сделаешь, что Аринка не будет княжьей любовницей?

– Как сделаю – мое дело, ты только помалкивай... Да вот еще: ступай к этой самой польской княжне и вели ей написать грамотку с жалобой, чтобы-де ее боярыня Хитрово вызволила...

– Что ты, что ты! – замахал руками Ефрем. – Ума решился? Чтобы боярин нас за такое дело по суставчикам разобрал?

– Боярыня – ума палата, придумает, как ему глаза отвести...

– Да что нам княжна? Своя шкура дороже, из-за нее вот в беду попал, прости Господи!..

– Из-за нее попал, из-за нее и спасешься. Иди знай! Что это ты освирепел вдруг? – спросил Васька.

Ефрем упал перед образом на колени и горячо стал молиться, прося Бога простить его злобное сердце, очерствевшее от гнева и горя.

– Слышь, Васька! – подымаясь с колен, начал старик. – Грешник я, страшный грешник... коли все поведать тебе, испугаешься ты меня!

– И, полно, дед! Бреешь ты с перепугу! – возразил Васька.

– Нет, Васька, нет, не брешу, – зашептал старик, и в темноте страшно блеснули его глаза. – Знать, Бог за грехи и наказывает... многое я попустил, многое сам, вот этими руками, сделал! Хочешь, скажу? Священнику на духу не сказывал, лик Господень боялся померкнет от мерзких моих слов... да теперь душу хочу отвести, авось полегчает, авось на доброе дело подвигнет...

– Лучше в другой раз! – слабо запротестовал Васька, чувствуя, как мурашки пробегают вдоль его спины.

– Нет, скажу сейчас, как на духу, пред Господним ликом святым! Может, и простит. Нет, не простит! – склонил уныло он свою седую голову на грудь.

– Милость Его велика, и простил Он разбойника, согрешившего много, но раскаявшегося! – проговорил Васька.

– Ты думаешь, и меня простит, если покаюсь? – восторженно спросил Ефрем. – Да я каюсь ежедневно, лежа во прахе у ног Его!..

– Священнику покайся... в монастырь поди! – советовал Васька.

– В монастырь? – грустно усмехнулся Ефрем. – Разве я смею, пес смрадный, возле жилища Его святого постоянно жить? Я, как Каин, должен ходить и места себе не находить... Без спроса и в монастырь не могу...

– И что ж ты такого сделал, говори, что ли, скоро вечерять надо...

– Вечерять? Вечерять! – с ужасом засуетился старик.

– Да ты не бойся! – успокаивал его Васька. – Я так смеаю, что князинька сегодня рано не вернется... и не до Арины Федосеевны ему ноне. Ну а так как нам все равно делать нечего, а душа твоя мутится, то и поведай мне тяготу свою душевную.

– Дурной ты, Васька, человек! – с сожалением проговорил Ефрем. – Рода ты неизвестного, бают – в Сибири был; сноровка твоя вороватая; боярину наушничает, много зла дворне причиняешь...

– Эх, дедушка Ефрем! – проговорил Васька, и в его голосе послышались дрожащие ноты. – Зло я делаю от собственной своей боли. Укусят меня, а мне насмерть убить хочется... Подымется во мне боль моя, и злоба во мне замутится; иной раз тошно от злобы на свет глядеть... А кто виноват в злобе моей великой? Люди! Они злым меня сделали... Молод я был – состарили; пригож был – окривили, волос лишили, по миру людей тешить пустили... Семью имел – всего лишили и надо мной же потешаются, надо мной же издевки делают... Как же любить мне людей, добром им за зло платить? Вот ты сказал, за что я внучке твоей Арине Федосеевне службу заслужить хочу? А за то самое, что не падала она во мне видела, не беглого из Сибири слушала, а душу во мне, проклятушем, почуяла ангельской своей душенькой... И утихла злоба моя, не веселюсь я чужой беде более, а скорблю, скорблю... да вот помочь-то не всегда только могу...

– Виноват я, Васька, стало быть, пред тобой? – ласково говорил Ефрем. – Да и то сказать! Сам я, пес смрадный, могу ли кого-либо во грехах укорять? Ну, слушай же, Вася, исповедь мою и суди, насколько я грешен.

Ефрем был сыном дворового князей Пронских; еще будучи мальчиком, он был взят дедом Бориса Алексеевича в товарищи игр к молодому Алексею Петровичу, оставался при нем неотлучно до самой его кончины, а затем перешел к сыну ключником.

Молодцеватый, смывленный Ефрем скоро приобрел доверие и любовь своего молодого князя.

Пронские редко кого дарили своим доверием, а тем более любовью; но Ефрем сумел подладиться под тяжелый, мрачный характер Алексея Борисовича, который ни в чем не уступал всем прочим князьям Пронским. Он был силен, как лев, но ненасытен и жаден, как волк. Мстительность, непомерное честолюбие, лукавство и жестокость были отличительными чертами характера Пронских; у отца же князя Бориса, как и у сына, была еще одна неутомимая страсть – страсть к женщинам; впрочем, этот последний порок, при тогдашних нравах, легко удовлетворялся. Однако князья Пронские не любили того, что давалось легко; им нужно было брать все с бою.

И отцу князя Бориса, молодому товарищу Ефрема, захотелось взять с бою жену какого-то бедного посадского, когда ему минуло всего двадцать лет, и Ефрем должен был ему в этом помочь.

Ефрема принимали в маленьком уютном домике, далеко от Кремля, на грязной узенькой улочке, запросто и ласково. Он хорошо пел жалостные песни и играл на гуслях. Молоденькая жена посадского, толстенная, быстроглазая женщина с белыми руками и в красной кике на гладких черных волосах с пробором посередине, угощала его подовыми пирогами и медом, весело смеялась его шуткам и ласкалась к своему бедняку мужу, обремененному вечною заботой выплатить вовремя подати и остаться свободным гражданином.

В доме была бедность, но царил любовь; как вдруг однажды князю Алексею Пронскому, возвращавшемуся с соколиной охоты, вздумалось проехать дальней дорогой домой. Он проехал узенькой улочкой, скользнул взглядом по низенькому домику и хотел уже поднять коня вскачь, как вдруг в палисадничке увидел своего стремянного Ефрема, перебиравшего гусли, а возле него – дебелую, быстроглазую бабу, румяную и сдобную, как подовый пирог. Она стояла подбоченясь и, заливаясь смехом, показывала свои белые зубы.

Кровь вдруг разом прилила к бледным щекам молодого князька. Он осадил коня и спрыгнул на землю, бросив поводья подскочившему к нему Ефрему.

– Угостишь ли, красавица, медком? Страсть пить охота! – обратился он к жене посадского и шагнул на крылечко.

Молодица насупилась, что гость незваный сам в избу входит, но, увидав, что это Ефремов барин, молча сходила на погреб и принесла меда.

Князь потрепал ее по щеке и окинул ее фигуру загоревшимся взором.

– Не замай! – отпрянула от него молодая женщина и скрылась в другую светелку.

Лицо юного князя дрогнуло, а у Ефрема захолонуло сердце; он знал мстительный характер боярина, не переносившего никаких препятствий. Но князь вдруг успокоился, загадочно усмехнулся и, проговорив сквозь зубы: «Добро же, попомнишь меня!» – сел на коня, велел Ефрему следовать за ним.

Не прошло и недели, как Ефрем выманил обманом жену посадского как бы для прогулки за Москву-реку, а там схватили ее люди молодого князя, зажали ей рот и уволокли в его дом. Не успела она ни крикнуть, ни словечка сказать, только посмотрела она на Ефрема, да так, что всю жизнь он этот взгляд забыть уже не мог. Ведь она ему верила, она знала, что молодецкое сердце Ефрема по ней давно кручинилось, и не думала, что, любя, можно так легко изменить, свою любушку да другому отдать...

После того Ефрем три дня без просыпа пил. Присылал за ним молодой князь, да не мог стремянный голову свою поднять; на четвертый день вышел приказ «живого или мертвого» доставить его пред ясные очи князя Алексея. Облила дворня Ефрема водой, искупала в пруду, и пошел он, пошатываясь, к боярину.

Встретил его князь тучи грозовой мрачнее, а Ефрем и сам невесел, тошно ему на сердце.

– Что ж это, Ефрем? – спрашивает его князь. – С бабой не справлюсь. Ты должен мне помочь, слышишь?..

– Уволь, князь!

– Что? – изумился боярин. – Отчего так? Мало, что ли, баб мы сгибали в бараний рог? – И стал князь всячески поносить своего пособника да товарища и послал его к жене посадского, чтобы уговорить.

Как увидела быстроглазая своего предателя, накинулась на него, изругала и даже в лицо наплевала и к мужу отвести приказала.

Сознался ей Ефрем, что не его воля была. Смеяться стала она над его молодечеством; глаза у нее загорелись, волосы по плечам разметались, белая грудь высоко под кисейной рубашкой вздымалась. Не стерпело ретивое сердце парня, схватил он ее в охапку да давай ее лицо румяное горячими поцелуями покрывать и слова ласковые в уши нашептывать.

– Князю не отдам красы такой, сам себе свою любовь возьму!

А она как выхватит из-за пазухи нож да как замахнется.

– Не замай! – кричит. – Жизни себя лишу, а твоей или князевой не буду; мужняя я жена и честной останусь!

На ее крик князь прибежал; Ефрему уйти приказывает; тот артачится. Спор завязался промеж них, но долго Ефрем перечить боярину не смог; холопская кровь заговорила в нем, и, склонив голову, побрел он к двери; боярин его остановил и тихо велел нож у посадской жены отнять.

Ефрем послушно пошел к ней и за руку было взял, да она, видно, поняла, что ее чести конец настал, да как размахнется ножом... и всадила его себе в грудь по самую рукоятку; тут же на пол, словно подрезанный колос, свалилась.

– Убийцы! – успела только прошептать она. – Ефрем... любила тебя!

Угасшим взором глянула она в последний раз на оцепеневшего стремянного и вскоре скончалась.

– Так вот как! – хрипло прошептал боярин. – Ты был моим супротивником! – И он устремил на своего молодого холопа ужасный взгляд.

Опять испугался Ефрем и повалился боярину в ноги, каясь и говоря, что умершая со злобы наклепала на него.

Задумался князь; злая усмешка скривила его губы, и, повернув к Ефрему свое бледное лицо, он проговорил:

– Ну, будь по-твоему: поверю твоим словам; только ты поклянись над ее телом, что всю правду сказал. Не поклянешься – значит, полюбовником ее был, и смерть тебя лютая ждет.

Затрепетал Ефрем; он пуще всего ложных клятв боялся.

– Князь, – пытался было он умолить боярина.

– Ну, что? Клянешься? – усмехнулся князь. – Или позвать людей для казни супротивника моего?

Знал Ефрем всю лютость, всю беспощадность оскорбленного самолюбия князя; уж если он велел ему дать клятву, то потому, что надеялся, что эта пытка души будет еще тяжелее временной телесной пытки.

– Ну, что ж? – нетерпеливо топнул ногой молодой Пронский и толкнул распростертого перед ним Ефрема.

«Потом покаюсь, в монастырь пойду!» – подумал стремянный и произнес вслух требуемую от него клятву над не остывшим еще трупом любимой и любившей его женщины и перед образом Спасителя.

– Говори! – приказал Пронский, когда слова клятвы были уже произнесены Ефремом. – Что без позволения, мол, бояр Пронских я, холоп Ефрем, ни в монастырь идти, ни священнику на духу каяться не волен... Ну, говори, что ли! – замахнулся на него боярин ножом, вынутым им из груди убитой. – Или убью тебя, как собаку, без покаяния!

Его лицо было до того страшно, что потерявший от испуга сознание Ефрем едва слышно повторял эти роковые слова:

– И что я буду вечно проклят, коли солгал. И еще буду проклят, коли в бегуны уйду... Буду вечно проклят, коли солгал, и еще буду проклят, коли в бегуны уйду, – повторил Ефрем.

– А теперь ступай! – приказал князь и направился к двери.

– Как же... как же тело-то? Похоронить бы... по христианскому обычаю, – робко заикнулся Ефрем.

– Собаке – собачья смерть! – коротко сказал молодой безбожник. – Не смей трогать!.. Велю людям в реку бросить!

– И вот с той самой поры погибла душа моя! – закончил свой рассказ старый ключник. – Продал я душу свою дьяволу. Алексей Борисович и до самой своей смерти не мог забыть и простить, что его соперником был холоп, и сыну заповедал моей душе покоя не давать... Женил меня, жену отнял силком, сына в ратные люди сдал, а невестка вскоре девочку Аринку родила и померла... Теперь и ее князь Пронский, исконный враг мой, отнять хочет... И за что? За что? Как ни томила, ни мучилась душа моя, а я все же служил князьям верой и правдой; много на моих глазах людей они изувечили, много душ загубили, а я слово сказать не посмел, клятву свою боялся нарушить.

– А ты бы, дедушка, все-таки сбежал! – посоветовал Васька.

– Куда бежать-то? Нешто от клятвы убежишь? Разве есть такое место на земле, где отрезшат тебя от нее?

– А монастырь?

– Так я ж поклялся, что без воли боярской не могу отлучиться ни в монастырь, ни к священнику, а бояре меня не пускают; вот теперь – безмолвный раб их! Куда я пойду с таким грехом на своей подлой душе?

– В пустынь пошел бы, по святым местам, что ли. Оно и не монастырь, а душеспасительное и как бы без нарушения клятвы.

– Эх, Васька, Васька! Думал иной раз – убегу в пустынь, молчальником сделаюсь, да вдруг точно живая встанет предо мной загубленная посадская жена и таково печально говорит мне: «Казнись, Ефрем, кайся!.. Тяжко мне на дне реки лежать без погребения христианского».

– Значит, князь утопил тело ее?

– Утопил! Дворня сказывала, велел головой к лошадиному хвосту привязать и так к реке волочить тело белое. И поволокли, сердешную. А потом привязали камень да в воду. Я по ночам часто хаживал на то место, где ее кинули, искал, искал, погребсти хотел, да где уж!.. Должно быть, на дне лежит или течением тело унесло... Лют был князь Алексей, и сыночек не уступает ему в лютости... А что, чай, время ему от Черкасского вернуться? – с тревогой спросил Ефрем.

– Должно, поздно. Да ему у Черкасского долго сидеть придется... два сапога пара, чай, судачат, как наказать врага, ранившего князя.

– Пронеси, Господи, беду! – перекрестился Ефрем. – Может, за Черкасского делом и Аришку забудет, а мы тем временем что-либо и оборудуем.

– Да ты писульку от княжны польской добудь, а я уж передам боярыне Хитрово, как ни на есть. А теперь пора расходиться, чай, все в доме повечеряли? Князь не велел его дожидаться.

– Схожу Аринушку проведать.

– Сходи.

Ефрем и Васька вышли из каморочки и разошлись в разные стороны.

XIII

Ходатай за княжну

Покои боярыни Хитрово были рядом с покоем царевен, и хотя дворцы царевен были построены не новейшими заезжими итальянцами да немцами, а все еще в древнерусском стиле, со множеством теремочков, башенок, лесенок и окошечек, тем не менее предоставляли довольно уютно и простора.

Покои же боярыни отличались особым убранством, указывавшим и на то, что боярыня была далеко не противницею новшеств. На дубовых стенах висели картины иноземных художников на сюжеты из греческой мифологии, а также на эпизоды из рыцарской жизни. В одном из оконных простенков висели часы с башенным боем. На столе лежал музыкальный инструмент – маленькая арфа, на которой боярыню обучал живший в Москве итальянец. Но арфа вся покрылась пылью, что свидетельствовало о полном невнимании к ней в последнее время ее хозяйки. Зато новенькая джианури – грузинская скрипка с красной широкой лентой на ручке – лежала на скамейке и точно заявляла своим нарядным видом, что ею занимаются, что она – любимая фаворитка боярыни. И правда, боярыня часто брала джианури в руки и, точно лаская ее, неумелыми пальцами перебирала струны, потом бережно клала ее на место и, задумавшись, подолгу смотрела на скрипку. Боярыня училась играть на этом инструменте, и учить ее взялся князь Леон Джавахов.

Вскоре после праздников, в послеобеденное время, боярыня сидела у себя в комнате в голубом парчовом летнике и без кики на голове; ее волосы были выложены короной на темени, что еще больше красило ее лицо. Она сидела у окна с задумчивой улыбкой на устах, устремив свои голубые глаза на пасмурное, хмурое небо. На улице завывала вьюга и крепчал крещенский мороз, а в комнате было тепло, уютно, приветно.

– Должно, не придет уж! – вздохнула боярыня, вглядываясь сквозь стекло в темневшую улицу.

Но вдруг дверь скрипнула, и боярыня, встрепенувшись от неожиданности, оглянулась. Однако вместо ожидаемого гостя в комнату вошла нянюшка боярыни, сморщенная старушка, полуглухая и полуслепая.

– Что тебе, нянюшка? – удивилась боярыня и пошла навстречу старушке, которая редко беспокоила свою ненаглядную красавицу посещениями. – Из-за чего пришла?

– Ась? – подставила старушка ухо к самым губам боярыни, но, видно сообразив, о чем та ее спросила, сказала – По делу, красавица моя, по делу.

– Какие у тебя дела, нянюшка? – улыбнулась боярыня.

Старушка, или не расслышав, или не желая отвечать, молча порылась в своем необъятном кармане, вытащила оттуда смятую бумажку и подала ее боярыне.

Та, не переставая улыбаться, развернула бумажку и стала читать написанные неразборчивым почерком то польские, то русские слова попеременно. Прочитав раз, прочитав два, она наконец уяснила себе все: по-польски она выучилась давно и теперь должна была вникнуть только в смысл записки.

– Нянюшка, откуда у тебя это? – спросила она старуху.

– Откуда у меня это, тебе не след знать, – ответила старушка, трясая головой, – твое дело – помочь обиженной!

– Нянюшка, да я не знаю, кто она, о ком здесь писано! – сказала боярыня на самое ухо старушке.

– Про то я тебе поведаю, коли слово дашь не выдавать ни ее, ни меня, а то ирод-то твой дознается и погубит нас всех. Я-то хоть и стара, а все-таки своей смертью помереть мне охота.

– Да о ком ты, нянюшка? – перебила ее боярыня.

– А не выдашь?

– Не выдам.

– Клянись на образ Николая Чудотворца! – потребовала недоверчивая старуха.

Боярыня исполнила ее просьбу и поклялась на образ Николая Чудотворца.

– Так-то крепче! – одобрительно кивнула головой нянька. – А то станет ластиться, речи лстивые говорить, а сердце-то женское жалостливое, все и выболтает...

– Да говори, няня, кто обиженная эта?

– Обиженная эта пленница? – тянула старуха. – Да польская княжна...

– Да как звать-то ее?

– А звать ее? Постой, запомнила я что-то. Хорошо, что добрые люди мне записали. – Она полезла в карман, долго в нем рылась и вытащила бумажку. – На, читай!

– Княжна... Ванда Ключинская! – прочитала боярыня.

– Что, не слыхивала о такой? – спросила старуха.

– Не-ет! – нетвердо произнесла Елена Дмитриевна.

Однако ей казалось, что это имя она уже слыхала где-то; но оно лишь неясно звучало в ее ушах и какой-то болью отозвалось в ее сердце.

– А злодея, заточившего сердешную, не знаешь? – раздался над ее ухом шепот старой няни. – Нет? А ведь ты его ласкала, миловала, суженым звала!..

– Няня! Да это не может быть, поклеп это, – неуверенно возразила боярыня.

Старая нянька рассердилась и застучала по полу костылем.

– Я, я клеплю на ирода твоего? – закричала она на свою воспитанницу. – Да провалиться мне на сем месте, коли лжет язык мой...

– Да не ты, нянюшка, не ты! – старалась успокоить ее боярыня. – Тебе налгали; знают, что ты его не любишь...

– Не люблю, – твердо возразила старуха, – да и любить-то его не за что. Злодей ведь он! Весь род их злодейский. И за что ты его избрала – не пойму, хоть убей.

– Не понять тебе, нянюшка, поистине не понять меня. Силу я люблю, могущество, богатство, а до сей поры не встречала я человека могучее князя Бориса... Разве вот...

Боярыня смолкла и отвела от пытливого взора няньки свое вспыхнувшее лицо.

– Ну, ну, договаривай, договаривай... Кому поведаешь горе свое и радость, как не старой няньке? Не выдам, не бойся, тайну твою...

– Ах, няня! – обняла ее Елена Дмитриевна. – Я не знаю, что со мною! Томится сердце мое! То сладко защежит, то занает, как от лихой боли... ночи стала не спать, голова в огне, ноги – как лед, и тяжело-тяжко грудь давит! Няня, боязно мне что-то!

– Иль новая зазнобушка? – прошептала нянька, глядя своей костлявой рукой шелковистые волосы боярыни.

Та в ответ только крепче прижалась к старухе.

– Полно, полно! Разве впервые с тобой это приключается? Горячая ты у меня, вся в бабушку; вспыхнешь полымем, да скоро и остынешь; недолго тебя лихоманка-то любовная треплет! – рассмеялась старуха.

– Ох, няня, не то теперь, совсем не то.

– А что же такое? Ну, рассказывай, коли так.

Елена Дмитриевна подняла голову, встала и, заложив за спину руки, прошла по комнате.

– Сказать – и впрямь легче, может, станет? – остановилась она перед старухой. – Люб мне, нянюшка, один молодец...

– Знаю, что молодец, – смеясь, махнула нянька костылем. – Ой, проказница, известно, не красную девицу полюбила. А кто же этот молодец, Аленушка?

Боярыня молчала.

– Аленушка, а Аленушка? Не хочешь сказывать – не надо! – обидчиво произнесла нянюшка и засуетилась, чтобы идти.

– Полно, няня, не сердчай, не сокрыть от тебя хотела я свою тоску; все поведала тебе, а имя... на что тебе имя?

– Нешто опять разбойника какого полюбила?

– Нет! – весело тряхнула головой боярыня. – Не разбойник он! Краше его нет в целом свете, а сила-то его, сила...

– Поди ты! Нешто в силе человеческой добро? Поистине хороший человек и без силы твоей бывает.

– Ах, няня, не понять тебе меня, никогда не понять.

– Где уж мне? Из ума, видно, старая выжила. А ты мне вот что скажи: Пронский-то твой, чай, тоже силен, по-твоему, на богомерзкие дела?..

– Сила его, няня, на худое пошла.

– Ну, вот то-то же! – весьма довольная, проговорила нянюшка и стала подыматься. – Мне пора. Так как же, детушка? Вызволишь ты мне княжну-то от злодея твоего Пронского?

– Вызволю, няня, скоро вызволю! – ответила боярыня, и странная улыбка мелькнула на ее полных губах. – И силу его испробую!

– Так прощай же, дитятко!

Елена Дмитриевна поцеловала своими свежими алыми губами морщинистые щеки старушки.

– И добра же ты, дитятко, ангел сущий! – проговорила тронутая старуха. – Знаешь, что пятая заповедь-то говорит? А ведь старая нянька – все одно что родитель, и за почтение к старшим вознаградит тебя Бог. Ну а коли что по этому делу с княжной занадобится, пришли за мною. Хоть и плохо ноги ходят, а вмиг предьявлюсь... Ты поразмысли-ка на досуге, как делу лучше пособить.

Долго еще говорила нянька, медленно подвигаясь к дверям; боярыня молча слушала ее с улыбкой на устах, бережно ведя под руку.

– Не проводить ли тебя кому, няня? – предложила боярыня.

– И-и, что ты, мать моя! Разве я одна! В сенцах Марфушка ждет; она привела, она и уведет. Прощай, красавица. Господь с тобою! – И, осенив свою любимую питомичу крестом, старушка вышла из покоев Хитрово.

Боярыня вернулась к столу, на котором горел ночник, и еще раз внимательно прочитала записку. Потом она посмотрела на часы и прошептала, подавив легкий вздох:

– Скоро ужинать... Так поздно не придет!

Она подошла к зеркальцу, висевшему в спальне, пригладила волосы и стала прилаживать кикю.

В это время вошла сенная девушка царевен и неслышно стала в дверях, ожидая, когда боярыня оглянется. Боярыня скоро оглянулась, отыскивая свой шугай.

– Ты что, Евфросиньюшка? – спросила она.

– Царевны за твоей милостью шлют, соскучились; сказывают, чего не идешь целый день, – бойко ответила девушка.

– Вот собралась их проведать... У них никого нет? – стараясь говорить равнодушно, спросила Хитрово.

– Как не быть, – ответила Евфросинья, лукаво опуская глаза. – Царь-батюшка и царица-матушка спроведать пришли царевен.

– А! – произнесла боярыня и вынула из поставца жемчужное ожерелье и серьги с подвесками. – Поди позови мне девок! – приказала она Евфросинье. – Да скажи царевнам, что, мол, идет боярыня.

Евфросинья поклонилась боярыне в пояс и скрылась.

Через минуту перед Еленой Дмитриевной, робко потупив взоры, предстали ее сенные девушки.

– Что прикажешь, боярыня? – чуть слышно шепнула одна.

Елена Дмитриевна сдвинула свои соболиные брови.

– Иль не знаете? Сарафан парчовый и шугай с камнями бирюзовыми! – крикнула она.

Девушки затрепетали и кинулись к большому шкафу, стоявшему в соседней комнате. Боярыня тем временем перечесала голову и, потребовав новую кичу, кокетливо стала прилаживать ее к волосам.

Явились девушки с сарафаном из голубой, отделанной серебром парчи, с белоснежной кисейной рубашкой и бархатным малиновым шугаем с бирюзовыми пуговицами; поставив сарафан на пол, они стали обувать боярыню в бархатные, отороченные соболем сапожки, потом одели в рубашку, взбили рукава так, что они, словно пузыри, вздулись на ее руках, и, наконец, облекли ее стройный стан в тяжелый сарафан, лубком коробившийся на плечах, на которые накинули шугай с золотыми позументами и драгоценными пуговицами. Шею боярыни сплошь унизали жемчугом и в уши вдели жемчужные подвески; руки украсили золотыми запястьями, между которыми были и дорогие венецкие изделия.

Одевшись и едва имея возможность шевелиться в этом тяжелом наряде, боярыня, оглянув себя в последний раз в венецкое зеркало, медленно поплыла из своих покоев к царевнам, приказав девушкам:

– На ночь приготовить яблочного настоя и огуречного рассола!

Яблочный настой она пила на ночь, а огуречным рассолом притиралась. И то и другое способствовали будто бы белизне лица.

Девушки безмолвно, как истуканы, стояли, вытянув вдоль бедер руки. Боярыня наконец удалилась.

XIV Сват

В доме князя Григория Сенкулеевича Черкасского шла необычайная суета. Чистили, мыли, словно обитатели сейчас только заметили пыль и грязь, наросшие по стенам неуютных покоев старинного деревянного княжеского дома.

Князья Черкасские принадлежали к одному из шестнадцати знатнейших родов, члены которых поступали прямо в бояре, минуя чин окольничего, и славились особенным богатством до 1665 года, когда моровая язва, свирепствовавшая в Москве, унесла у одного только из Черкасских, Якова Куденетовича, четыреста восемьдесят душ. После этого род князей Черкасских пришел в некоторый материальный упадок. В последние годы между Черкасскими выделился князь Яков Куденетович; он участвовал в польском походе; в 1655 году 29 июля, под Вильной, разбил обоз гетманов Радзивилла и Гонсевского. В 1632 году, еще покойным царем Михаилом Федоровичем, за особые заслуги Якову Куденетовичу было пожаловано село Богородицкое, поместье Кузьмы Минина-Сухорукого, а в 1633 году дом Минина в Нижнем был тоже пожалован в род Черкасских.

Рана, нанесенная незнакомцем, долго беспокоила Григория Сенкулеевича, но наконец поддавалась лечению дворцового лекаря Стефана Симона, а через месяц после происшествия он уже свободно двигал шеей, ел по-прежнему за троих и пил за шестерых.

В первый же день, как только лекарь разрешил ему встать, домоправительница князя, Матрена Архиповна, не первой молодости и необычайной силы женщина с мужским голосом и усами над толстыми губами и огромным ртом, распорядилась произвести в доме чистку, на радостях, что хозяин вызволился из лютой беды.

Был час пополудни, и в большом невзрачном столовом покое за столом в первый раз восседал князь Григорий Сенкулеевич. Его лицо с быстро бегавшими глазками, с землистым цветом кожи, одутловатыми щеками стало еще безобразнее после болезни. Он с жадностью запихивал в рот куски жареного бараньего сала и запивал это жирное кушанье душистым рейнским вином.

Возле стола, оскалив свои гнилые зубы, стояла Матрена Архиповна. Огромного роста, широкоплечая, уродливая, она как раз была под стать своему хозяину, которого обожала всем своим мужественным, грубым сердцем.

– Ешь, родной, ешь! – говорила она, одобрительно качая повязанной цветным платком головой. – Отощал небось? Лекарь-то есть не давал, собачий сын!

– Гм! – промычал князь. – Кабы не он, сдох бы я, аки пес.

– Ну да, еще бы! – недовольно проворчала домоправительница. – Лекарь! А я разве мало за тобою ухаживала? Мало лампадок Иверской Божией Матери ставила? Мало я ночей возле тебя недосыпала? Лекарь!..

– Известно, он, – флегматично возразил князь. – Кто мне рану-то прижег: ты али он?

– Может, прижиганье это после отзовется. Чернокнижник твой лекарь, вот что.

– Вздор мелешь! – остановил женщину князь. – Не волшебством меня Симон излечил.

Матрена Архиповна поджала губы и помолчала, затем, не вытерпев, спросила:

– А узнал князь Борис Алексеевич врага-то твоего?

– Говорит, не узнал. Да и как узнать?

– Ты, чай, говорил, каков он обликом?

– Да я сам дюже запомнил. Будто черный, иноземец какой или что. Рожа у него черная.

– А я, хочешь, узнаю? – подбоченясь, с торжеством спросила Матрена.

– Ой ли? – оживился боярин и даже оставил кулебяку. – Врешь ты все, откуда тебе узнать-то?

– А вот те крест, узнаю! – перекрестилась домоправительница, глянув на дорогой образ, висевший в углу.

– Как же ты узнаешь? – полюбопытствовал князь.

– К ворожее Марфушке пойду, – нетвердо ответила домоправительница и пытливо посмотрела на князя.

Лицо Григория Сенкулеевича потемнело и даже перекошилось при этих словах.

– С нами крестная сила! – набожно проговорил он. – Да в уме ли ты, Матрена?

– Ты меня, боярин, не замай! Мое дело, я и в ответе. А неужто же твоему ворогу без казни по белу свету бродить?

При напоминании о дерзком чужеземце, ранившем князя, глаза последнего сверкнули бешенством.

– Сам найду, дай срок! – глухо возразил он.

– Сам-то сам, а пока что я все-таки к Марфушке схожу.

– Как знаешь, только моя хата с краю, ничего не знаю.

– Само собой!.. Нешто я не ведаю?

Что-то вроде ласки мелькнуло в маленьких глазах князя, когда он взглянул на свою верную домоправительницу. Она поймала этот взгляд, и широкая улыбка расплзлась по некрасивому лицу.

– В огонь и в воду за тебя, мой кормилец, пойду! – проговорила она, со странной нежностью целуя его в плечо.

Матрена Архиповна в молодости была приятна на взгляд, свежа, здорова, а главное – молода, так молода, что, оставшись вдовой двадцати пяти лет, страдала от избытка этой молодости и сил. Роста она была большого и силой с юных лет обладала неженской.

Князь Григорий Сенкулеевич тоже смолodu был и силен, и роста могучего, и нрава крутого, лютого; Матрена Архиповна не боярыней была, а вдовой купца именитого и богатого, и жениться на ней князь не женился, но она прожила у него в доме двадцать лет, словно жена, в церкви венчанная, и любила его, как только могла любить ее суровая натура.

Часто князь изменял своей подружке; в дом и пленниц вводил, и цыганок приваживал, но на все смотрела Матрена Архиповна сквозь пальцы, называя увлечения князя забавой и не боясь, что кто-нибудь займет ее место в доме. Она потакала всем прихотям князя; часто своим изворотливым умом выручала его из беды и укрывала его преступления, которыми была богата необузданная жизнь Черкасского.

– А, чай, царь-то по головке не погладит, коль узнает, что ты его указ нарушил. В бой вступил, да еще в праздник! – сказала Матрена.

– Как ему узнать-то? – утирая бороду, спросил боярин. – Доселе не узнал, значит, и не узнает.

– То-то и есть! Стало быть, врага-то твоего надо своим судом... чтобы никто не узнал?

– Вестимо.

– Не следовало и Пронскому князю говорить о нем.

При имени Пронского князь исподлобья глянул на свою сожительницу, зная, что она не любит Бориса Алексеевича.

– Не сказать нельзя было. Если бы я в беду попал, он все-таки вызволил бы.

– Разве что!

– Вот ждал его к обеду, да что-то не идет, – проговорил боярин, подымаясь из-за стола и с наслаждением потирая свой вздутый живот. – Сыт! Бог наплат – никто не видал, а кто и видел, тот не обидел!

– Кто тебя, сокола, обидит! Кваску холодненького не изопьешь ли? – заботливо спросила домоправительница.

– Не вредно бы! – ответил боярин, разваливаясь на лавке.

– Сама схожу и принесу! – И Матрена вышла из столовой.

Боярин проводил ее долгим взглядом и прошептал:

– Ишь, как заботится, словно голубка вокруг голубя. Гм! Голубь! – он ухмыльнулся. – А того не знает, что я ей готовлю! Чай, осерчает?

Вернулась Матрена с круглым деревянным подносом, на котором стоял кувшин с квасом. Григорий Сенкулеевич припал толстыми губами прямо к кувшину.

– Смотри, князинька, не вредно ли? – осведомилась Матрена, но князь только промычал что-то в ответ.

Напившись до отвала, едва переводя дух, он отвел кувшин с квасом и повалился на лавку.

– Теперь соснешь маленечко?

– Гм! – промычал князь и тут же заснул.

Матрена Архиповна села возле него и стала оберегать сон своего повелителя. Раза два она грозно махнула вошедшему было убрать со стола служке и послала сказать, чтобы в доме все было тихо: боярин, мол, поживает после трапезы.

Но поживать князю удалось недолго. За окнами слышались звон колокольчиков и фыркание коней.

Матрена Архиповна тихонько поднялась с лавки и на цыпочках пошла вон. В дверях она столкнулась с бежавшим к ней мальчиком.

– Ты куда, постреленок? – шепотом спросила она.

– Князь Борис Алексеевич пожаловали! Сейчас будут здесь, велели предупредить! – шепотом ответил казачок.

– Поди скажи, князь поживает... уже князя Бориса примет. Ну чего, оголтелый, уставился?

– Боярин осерчают! – нерешительно возразил мальчик.

– На меня осерчает – не на тебя! Я в ответе буду!

Мальчик убежал, а Матрена вернулась на лавку и стала с любовью смотреть на спящего, прислушиваясь, не уехала ли тройка Пронского; но слабое позвякивание колокольчиков, доносившееся с улицы, свидетельствовало, что князь еще здесь.

– Кто это говорит князю Пронскому: «Приди уже!»? – раздался властный голос князя Бориса, и, распахнув двери, он вошел в комнату. – Это ты такой издал приказ, Григорий Сенкулеевич? – подбоченясь, грозно спросил он Черкасского.

А тот спросонок не мог понять, в чем дело, и, немилосердно зевая, протирает глаза.

– Князю Пронскому сказать: «ужо»! Да ты в уме, князь? Сам меня звал, да потом вдруг: «ужо»? Нет, князь, за такую обиду дешево не расплачиваются. И не чаял я, не гадал, что вместо родни врагами станем...

– Стой, стой, князь! Ничего в толк не возьму, что гуторишь такое? – приходя в себя, спросил Черкасский. – Скажи толком, на что осерчал?

– Прислал ты сказать мальчонку, что, мол, «князь уже тебя позовет, а теперь поживает, ступай, дескать, подобру-поздорову». Как же так, князь? Или раздумал? Так лучше честью прямо скажи, а то негоже так по-басурмански...

– Ничего я не раздумал, ничего приказывать не велел. Спал я, тебя дожидая, это верно.

– Стало быть, мальчонка наврал! – засверкал Пронский глазами. – Ну и быть же ему драным. – Он хотел кликнуть казачка, но Матрена, выступив вперед, остановила его:

– Постой, князь, мальчонка не виноват. Я приказ этот послала.

– Ты? Так, стало быть, холопка приказы у тебя здесь дает? – злобно усмехнувшись, спросил Пронский.

Матрена гордо выпрямилась и с той же злобой ответила:

– Не холопка я, и тебе, княже, это ведомо! Приказ послала я потому, что князь тяжело болен был, силами еще не подобрался... Соснул он маленько, а тут его будят; ну, я и раздумала: дела-то ваши не ахти какие, время терпит, а ты не обессудишь... Вот только норов твой забыла...

Она некоторое время стояла задумавшись, потом повязала голову теплым платком, надела валенки и шубку и тихонько вышла из дома.

XV

Молодая невеста

Князя тем временем подъехали к дому Пронского и остановились у открытых ворот, где им навстречу тотчас же высыпала дворня и стала бережно высаживать их.

Это был тот самый дом, что привлек внимание князя Леона Джавахова в день его столкновения с боярином Черкасским; но теперь ставни были открыты и запоры повсюду сняты.

– Зачем меня сюда привез? – с удивлением спросил Черкасский, подымаясь на крыльцо и оглядывая странный дом.

– А куда ж еще? – усмехнувшись, ответил Пронский.

– Ведь это дом боярина Семена Стрешнева?

– Его. Так что ж из того?

– Сослан он в Вологду за волшебство, – вздрогнув, ответил Черкасский и опять робко оглянулся.

– Так что ж из того? – повторил Пронский с насмешливой улыбкой. – Не бойся! Теперь волшебство отсюда изгнали! Этот дом я купил у родичей опального...

– Небось духи здесь водятся? – шепнул Черкасский.

– Злых здесь тьма! – с насмешкой во взоре, но серьезно ответил Пронский.

– С нами крестная сила, место наше свято, чур меня, чур! – заметался суеверный князь-великан. – Да зачем же ты меня сюда-то привез? Прощай, князь! – сердито кивнул он головой и повернулся уже, чтобы идти обратно.

– погоди, князь Григорий, не петушись. Попытка – не пытка. Теперь час еще ранний, не бесовский, бесы еще почивают... Ты выкушай спервоначала чарку браги, на красу девичью полюбуйся, а потом и с Богом, никто тебя не удержит.

– Зачем их сюда поселил? – нерешительно оглядываясь, проговорил Черкасский.

– Так надо, – твердо ответил Пронский и повел гостя в комнаты.

Дом был очень старый, деревянный, с узенькими лесенками, башнею и даже слюдовыми окнами. Убранство дома соответствовало его наружному виду: деревянные, от времени почерневшие полы, бревенчатые потолки и стены, вдоль которых тянулись широкие скамьи и такие же столы. Все украшение комнат составляли множество образов в дорогих ризах да кованые сундуки, крытые коврами и полные всевозможных богатств.

Наши предки не любили зря показывать свои сокровища, редко вытаскивали из сундуков куски полотна, бархата и индийской кисеи, которую очень любили за ее тонкость и нежность наши прабабки. Парча, жемчуг, излюбленное украшение древних русских женщин, яхонты и изумруды покоились иногда веками на дне какого-нибудь железом окованного сундука под мудреным заморским ключом.

Да и кому было показывать наряды, драгоценные украшения и даже женскую красоту? Целые дни, месяцы, годы однообразная, душу надрывающая жизнь без цели, без интересов, стремлений и даже без мыслей. О чем было мыслить древнерусской женщине, ничего не видевшей, ничего не знавшей, кроме своего терема с его низменными внутренними тревожностями и вечными, беспросветными буднями?

У мужчин было дело: война, оберегание своих владений, их расширение, достижение власти и политические волнения, государственные дела и даже семейные, потому что и этим мужчины больше занимались, чем женщины. Женщина не имела власти ни выдать дочь замуж, ни женить сына; всем распоряжался отец, брат или дядя.

Да и какой могла быть семьянинкой древняя русская женщина, заключенная в терем, все равно что заточенная в тюрьму? Не могла же она научиться в этом затворничестве ни свободно мыслить, ни свободно чувствовать, ни развивать свои душевные силы. Не зная сама ничего,

она решительно ничего не могла передать своему ребенку. И дети чувствовали духовную несостоятельность своих матерей, но любили их все-таки нежнее, чем отцов, которых смертельно боялись и по-своему уважали.

К концу шестнадцатого века в терем медленно стал проникать луч света. Русская женщина начала учиться грамоте, хотя пока еще церковной, стала интересоваться тем, что делалось вокруг нее, пробовала делать робкие попытки скинуть тяжелые оковы, веками лежавшие на ее свободе.

Появились наконец такие женщины, как, например, боярыня Хитрово, царевны, жена боярина Матвеева и еще несколько знатных боярынь, которые скинули со своих лиц покрывала и уже открыто появлялись в обществе рядом со своими мужьями, вмешивались в политические дела и стойко отстаивали свои права быть не только женами, но и сотрудницами своих мужей. Конечно, таких пионерок было еще очень мало, потому что истинно развитых мужей вроде Матвеева, Ордина-Нащокина, Ртищева и Морозова было еще меньше и потому еще, что людям вроде Пронского и Черкасского было вовсе не на руку духовное освобождение женщины; им гораздо более улыбалось, чтобы раба никогда не смела поднять свою голову, возвысить свой голос и чтобы с нею можно было поступать так, как поступал Пронский со своими женой и дочерью.

Войдя в дом, Пронский приказал слуге, стоявшему навтыжку у притолоки двери:

– Поди скажи боярыне, что, мол, князь Григорий Сенкулеевич челом бьет. Да чтобы скорей, не заставляла гостя именитого долго дожидать себя!

Слуга исчез, а Пронский стал прохаживаться по комнате. Черкасский снял шапку и шубу и сел под образа.

– Уф! – отдувался он. – Плотно пообедал, оно и тяжело.

– Сейчас Ольга придет с чаркою вина, – ответил Пронский, нетерпеливо поглядывая на дверь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.